

18+

ВАЛЕРИЙ ОСИНСКИЙ

Русский излом



Валерий Осинский

Русский излом

«Издательские решения»

Осинский В.

Русский излом / В. Осинский — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-981658-0

Повести и рассказы, собранные в книге, были опубликованы в толстых журналах в разное время и отражают переломные моменты в истории страны. Некоторые из них публикуются впервые.

ISBN 978-5-44-981658-0

© Осинский В.
© Издательские решения

Содержание

Верность	6
Ужинный угол	46
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Русский излом

Валерий Осинский

Корректор Александра Васильева

Редактор Олег Грибков

Корректор Ольга Кириенко

© Валерий Осинский, 2020

ISBN 978-5-4498-1658-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Верность Повесть

В сентябре сразу за коротким бабьим летом северный ветер пригнал облака, и начались дожди. За неделю город, словно, отсырел и раскис. И людям казалось: в этом году не было ни лета, ни солнца, ни тепла.

Александр Николаевич Каретников в футболке, «трениках» и босой за журнальным столиком шевелил губами над измятым тетрадным листом, многократно сложенным пополам и вчетверо, и снова развернутым. Он близоруко шурился, а в самых неразборчивых местах списка, словно нюхал бумагу крупными нервными ноздрями.

– Еще бы тыщенку зелененьких... – Каретников задумчиво поскреб голову тупой стороной карандаша и машинально пригладил вечно всклокоченные волосы.

– Может, мама привезет... – Жена, Вера Андреевна, устроилась с ногами в кресле перед телевизором и закутала стопы полами халата: – Саша, надень очки, – мягко сказала она.

Каретников поерзал на диване. Ему было за пятьдесят. Долговязый и сухой Александр Николаевич был еще статен. Но на макушке, висках и старомодных хиповских полубакенбардах появилась седина. Каретников говорил: «проступила плесень». Он называл себя старичком, игриво преувеличивая годы, но ревниво следил за приметами возраста. Поэтому всегда ходил энергичной походкой своих длинных, как у журавля ног, даже, когда торопиться было некуда, и носил очки не на носу, а в великолепном кожаном футляре с тиснением – подарок жены на юбилей. С молодости – в прошлом году Каретниковы отпраздновали серебряную свадьбу, – Вера Андреевна заботилась о муже, как старшая сестра о непоседливом брате, хотя была младше на четыре года. Александр Николаевич вечно спорил с женой. А когда «все делал сам», то не находил ни свежего носового платка, ни носков, ни галстука. И сдавался.

Их дочь Ксения то и дело меланхолично поглядывала на золотые часики—браслет, подарок жениха. Это была рослая, в отца, девушка. От Александра Николаевича она получила слегка впалые щеки и очень прямую осанку. От матери ей досталась неброская красота: бледная, чуть в веснушках кожа, узкий рот и серые с голубизной глаза с длинными ресницами. Отец любил гладить дочь по густым светло—русые волосам в завитушках и до плеч. Сейчас Ксения и Борис, ее жених, которого теперь ждали, собирались к каким—то его знакомым – «очень влиятельным людям», – а затем, в ночной клуб «прощаться с холостой жизнью». Рядом с девушкой на полу лежали туфли на шпильках: Ксения ходила в них по квартире – привыкала – и наломала ноги.

– Уж не мама должна нам везти, а мы ей! – отозвался Александр Николаевич, на реплику жены, пробормотал: – Деньги, деньги, деньги, – и вдруг густо вывел: – Люди гибнут за мета—а—а—а—ал... – закашлял в кулак с неожиданно пещерным звуком, и: – Где же он! Ксюша, Борис обещал в шесть?

– Да.

– Уже седьмой!

– Застрял в пробках в Москве. Погода—то, какая! – сказала Вера Андреевна.

Все невольно посмотрели за окно. Там по—прежнему сек дождь.

– Мог бы позвонить, или эс—эм—эску скинуть, – сказал Александр Николаевич. – Ладно, давайте ка еще раз без него. Его гостей пока пропустим.

Через три дня Ксюша выходила замуж за Борю Хмельницкого, старшего менеджера строительной фирмы. «Зиц председатель Фунт! – шутил Каретников и добавлял: – Сейчас все менеджеры! Сиречь, приказчики!» Родители Ксении осторожно предложили отметить свадьбу по—семейному, то есть без шика: Александр Николаевич работал старшим экономистом НИИ,

Вера Андреевна преподавала на кафедре иностранных языков гуманитарного университета. Жили в пригороде Москвы, и цены на услуги здесь были, будь здоров, столичные. «Лучше за границу съездите!» – предложила мать. Дочь ответила: «Так хочет Боря». И решили: «Один раз можно раскошиться!» Фата, гости, лимузин, словом, «как у всех» получалось лишь вскладчину со стороны жениха. И чтобы не позориться перед новыми родственниками, продали пианино и одолжили денег.

Давно были разосланы пригласительные – гостей и родственников с обеих сторон набралось человек семьдесят, – заказали кафе, прикупили вина и водки, продукты «на второй день». Но как водиться, что—то не заказали, кого—то забыли пригласить, или еще не ясно, придут ли. Роскошное подвенечное платье пришлось подгонять по фигуре в ателье. Все нервничали, суетились, но дела кое—как двигались...

Александр Николаевич разгладил ребром ладони лист и стал бегло зачитывать и отмечать фамилии гостей, десятки раз зачитанные и отмеченные крестиками, галочками, кружочками, стрелочками: в этой арабице разбирался лишь он. Тут карандаш споткнулся.

– Красновские. – Быстро пробормотал Каретников: – Жора и Маша, вроде, будут. Марина с мужем тоже, – и прокашлялся.

Мать мелко вздохнула. Ноздри Ксении расширились. Она разозлилась и на заминку отца, и на вздох матери. Соседи по лестничной клетке были давними друзьями Каретниковых, еще по старой квартире. С детства Ксюшу и сына Красновских, Сережу, считали женихом и невестой. К этому так привыкли, что известие о замужестве Ксюши удивило соседей. Минувшим летом Сергей приезжал в отпуск. Обе семьи надеялись, наконец, «узаконить» отношения детей. «Засиделась ты, Ксюха, в девках! – подшучивал отец. – И Сереге пора выйти из Ордена Холостяков. Так сказать, перекрасить масть валета виной. Хватит вам умничать!»

И вдруг без объяснений Сергей до срока уезжает в часть, Ксения молчит. Когда же дочь объявила родителям, что четвертый месяц беременна, и они с Борисом решили пожениться, стало не до любви. Отец лишь упрекнул дочь и зятя: «Что же вы тянете!»

...Красновские были по—прежнему приветливы с Ксюшей, но, встретив ее в общем коридоре, виновато улыбались и торопились к себе.

Ксения объяснилась лишь с матерью. «Мне уже двадцать четыре. У нас разная жизнь. Я здесь. Он там. А с Борей мне спокойней. Спокойней за ребенка».

«А это его ребенок? – иронично спросила мать. – Сергей приезжал в мае, как раз...»
«Мам, это не твое дело!»

Вера Андреевна внимательно посмотрела на дочь. Ксения покраснела.

«Надеюсь, моя дочь не игрунья, чтобы морочить головы двум мужчинам?»

«Мам, я понимаю, тебе обидно за Сережку. Но, во—первых: это действительно не твое дело. А, во—вторых, кто бы ни был его отец, это мой ребенок! А разве мой ребенок, – она сделала ударение на местоимении, – не достоин нормального будущего?»

Женщины переглянулись.

«Я знаю, мам, что ты думаешь. Но сейчас жизнь такая!»

«Это не жизнь такая, Ксюша, а – ты! Надеюсь, впредь ты не будешь шутить такими вещами!»

Больше они об этом не говорили.

По привычке Ксения следила за новостями «оттуда».

Еще во время учебы Ксении в старших классах по телевизору показывали бородатых дикарей в лесу: они резали головы людям, стреляли в пленных. Затем дикарей начали «мочить в сортирах». После окончания Каретниковой института у них на кафедре иностранных языков кто—то повесил компьютерную распечатку: «поймали группу террористов: Камаз Помоев, Букет Левкоев, Поджог Сараев, Погром Евреев» и что—то в том же духе. Не умно! Вот и вся война. В письмах из командного училища Сергей рассуждал о «Кавказском нарыве» со времен

Пушкина и Лермонтова, от Жилина и Костылина до «Тучки» Приставкина и фильмов Сергея Бодрова—младшего. (В армии ребята почему—то пространно философствуют.) С Кавказа он не прислал о войне ни полслова. Возможно, из—за цензуры...

Сергей приезжал в отпуск как всегда смешливый, с короткой стрижкой.

– Ты загорел. У вас там Куршивель? – как—то спросила Ксения иронично.

– Почти.

– И какой у тебя чин?

– Капитан.

– Это много?

– Не очень.

– Ты на военного совсем не похож.

Теперь все это не имело значения.

...Ксения прислушалась к чтению отца. Подумала о Борисе: «Не звонит, значит подъезжает».

В двери постучали.

– Наконец—то! – пробормотал Александр Николаевич и вскочил открывать.

Ксения пододвинула ногой туфли и стала втискиваться в них.

– Ксюша, ну куда же ты их напаялишь со своим ростом! – снова мягко возмутилась мать. – В твоём положении! Отличные же лодочки...

– Мое положение ещё не заметно, мам! К тому же Боря так хочет.

– Опять Боря! – проворчала мать. – Ты стала душой при нём! С каких пор ты без него ни шагу?

– Мам, не люби Борю, пожалуйста, про себя. А то сделаешь меня матерью одиночкой.

Вера Андреевна недовольно вздохнула. Ксения подумала: «Соседи. Иначе бы в домофон позвонил. Или в звонок у двери». Она прислушалась к себе, ощущая простую и непостижимую тайну жизни. И вновь ей стало жутко и радостно. Это было важнее препирательств с мамой. Важнее Бори. Предчувствие счастья. А все остальное было лично её, Ксюшиной тайной, о которой никто не узнает.

Пробубнил мужской голос. Что—то стукнуло о пол. От двери просквозило по ногам.

На балконе тихонько дзинькали бельевые струны о металлические перила.

– Саня, кто там? – Вера Андреевна поводила головой, вглядываясь в прихожую.

В дверях встал муж. Бледный, он, не видя, осмотрел зонтик—трость.

– Тебе плохо? – встревожилась жена.

– Нет. Зонт вот грохнулся. – Каретников положил его рядом со списком и мешковато плюхнулся на стул. Вера Андреевна выбралась из кресла и выглянула в прихожую.

– А где Боря?

– Не знаю...

– Как не знаешь? Что случилось? Ты меня пугаешь, Саша!

Тот растерянно посмотрел на домашних.

– Жора приходил... Георгий Иванович. Говорит, Серегу убили.

На экране телевизора резвились синие и желтые «мульти» с идиотскими рожами, и, словно потешались над глупыми, притихшими людишками.

– Что значит? – Вера Андреевна в недоумении уставилась на мужа.

Он пожал плечами. Тут до неё дошло. Она охнула и села напротив.

– А Маша—то, Маша! – ужаснулась женщина, опрокинула стул и выбежала вон.

Ксения ждала, что ей то отец сейчас все объяснит...

Он, наконец, понял! Нахмурился, шепоткой промокнул нос и ушел. Предчувствие счастья в девушке скукожилось и умерло.

Ксения покачнулась на каблуках. «С непривычки. – И тут же. – Убили?» Но, ведь бородастые дикари, зверство и другая жизнь – по телевизору. При чем здесь они, Красновские, Сережа...

Вот он влезает с дорожной сумкой в такси, в последней, сторбленной позе отбытия. Ксения мгновенно вспомнила, как он ходит, смеется, чихает. Но не смогла вспомнить его лицо...

В распахнутую дверь Красновских заглядывали соседи с лестничной клетки напротив. Круглолицая женщина сокрушенно закивала Ксении из стороны в сторону, и с любопытством вытянула шею из—за спины мужа. Девушка протиснулась между ними.

Зеркало у вешалки задрапировали. Окна зашторили. Ярко горело электричество. У выдвинутого из угла стола бочком сидели двое в мокрых плащах. Длинный мужчина с хрящеватым лицом держал шляпу. Он кивнул Ксении. Это был зять Красновских, Вадим. Шляпа? Вадим никогда не носил шляпы! Второй, друг Вадима – Ксения не помнила его имени – горстью машинально смахнул с полировки лужицу, натекшую с кожаной кепки, и потряхнул кепкой: брызги мокрым серпом хлестнули о паркет.

В спальне застонали. Девушка вздрогнула, и взглядом поискала родителей. Вадим шмыгнул носом, встал и снова сел, раскинув локти между спинкой стула и столом. Его глаза покраснели.

Вошли Георгий Иванович, невысокий, лысенький толстячок с рельефной червеобразной веной на виске – он был в сером костюме, с чемоданчиком и со шляпой в руке – и Каретников.

– Надо ехать, – потерянным голосом сказал дядя Жора. Его всегда круглое без возраста личико веселого балагура сморщилось, будто он вот—вот заплачет. Но он не плакал.

Володя суетливо искал сумку. Друг подсказал: сумка в ногах.

«Уже собрались, – подумала Ксения, – а нам сказали только сейчас».

В спальне снова застонали. Красновский, осторожно уравновесив на чемодане шляпу, было, шагнул туда. Открыл дверь. У широкой постели хлопотала Вера Андреевна.

– Папа, опоздаете на самолет! – послышался голос Марины, старшей дочери Красновских.

Ксения уткнулась в кулаки. Она испугалась внутренней боли, – боль разрасталась в сердце, в груди, кошачьими коготками рвала трахею и гортань, выдавливала слезы, боли было все больше и больше – и от боли не было спасения! Отец озабоченно шарил по паркету взглядом и шмыгал носом: он тоже боролся с болью.

Дядя Жора помял шляпу и примерился к чемоданчику.

– Надо ехать, – пробормотал он, кивнул всем и вышел в прихожую. Вадим помог ему натянуть дачный дождевик: подбородком тесть крепко прижимал перекрещенные концы черного шарфа и, вскидывая плечи, исхитрился попасть рукой в пройму, но промахивался. Соседи расступились. Кто—то всхлипнул.

Марина просеменила к телефону. Обычно бледная и худая с темной тенью под верхней губой теперь она, казалось, мертвенно—серой и костлявой в широком траурном платье. Ее волосы в жиденькой косичке растрепались, и женщина походила на больную птицу секретарь.

– Что же вы не едите? Ей совсем плохо! Да. Сердечный приступ! – негромко и с раздражением сказала Марина. Бесцветным голосом она повторила адрес, кивнула Ксении и ушла в спальню.

Потом Ксения что—то делала, с кем—то разговаривала. Сердитый фельдшер не сразу понял куда идти и кого лечить. Девушка едва узнала страшное распухшее лицо тети Маши. Борис? Зачем он здесь? Она пошатнулась на шпильках. «С непривычки!» И сняла их. На душе стало невыносимо. У Ксении началась истерика. Жених и отец увели девушку и уложили в постель.

...Ксения очнулась и сосредоточилась: произошло что—то ужасное, но – что, никак не могла вспомнить. Она осторожно выглянула из—под век, словно проверяла, далеко ли опас-

ность! Было темно и тихо. Лишь в щель балконной фрамуги шептал сквозняк. Тут она вспомнила. В груди заledenело: ни повернуться, ни встать, ни подумать. Как это бывает со многими, кого не заботит вера в обычной жизни, она наспех попыталась соорудить мягкого, теплого, смутного от слез Бога и хотела прошептать простую молитву. Но молитв не знала.

Который же теперь час? Ночь? Утро? Непогода и задернутые шторы смешали время. Ксения сделала усилие, и села в постели. Стало зябко. Она нащупала ногами тапки. Одеядо наполовину сползло на пол. Халат поник на спинке стула. Подумала: «Борис...». Отец всегда вешал халат на место, на ручку бельевого шкафчика у дивана. Значит, ее переодели. Ксения похолодела: «свадьба!» Представила себя в нарядном платье. А в коридоре люди! В квартире Сережа. И надо будет пройти мимо дядя Жоры, тети Маши. Это не Москва, где торопливо везут из морга сжигать или закапывать. В пригороде дают проститься с улицей, домом, соседями...

Вдруг она с ужасом поняла: мимо Сережи надо будет пройти ей и ребенку! И с еще большим ужасом осознала, что теперь не осмелиться рассказать правду ни Борису, никому! Не осмелиться рассказать о единственной причине, которая оправдывает их с Борей отказ от фарса. «Это нельзя! Невозможно!» Она вдруг увидела цинизм своих фантазий, фантазий злого ребенка—переростка о том, что можно прожить в полсовести, и тихонько заплакала, утирая слезы по—детски кулаком.

От стены в коридоре на матовое стекло двери отражался свет из кухни. Там бубукали голоса: хриловатый от крепких сигарет голос отца, и ровный — Бориса. Девушка попробовала и не смогла встать. Голова кружилась, колени дрожали. Наверное, действовало снотворное.

У двери воровато хрустнул паркет, и на стекле замутнела высокая тень Бориса. Он заглянул в щель. Поводил головой вправо, влево, встретился глазом с глазами девушки и неслышно скользнул в лазейку.

— Проснулась? — Борис ободряюще улыбнулся, как улыбается старший товарищ младшему: мол, видишь, я же не унываю. Плечистый, с осторожными движениями, будто старался не привлекать внимания, неизменно в белой рубашке и неброском галстуке. Ксения вдруг заметила: у него плакатное лицо: косой пробор, ямочки и в двадцать девять лет задорный румянец на щеках. Скользнешь взглядом по этому приятному, пустому месту и тут же забудешь.

Борис включил настольную лампу с зеленым абажуром — вещи из сумрака сразу встали на свои места, — поправил стопку книг, поискал, куда бы присесть и... не присел. Теперь в его повадках Ксения увидела не деликатность, как ей представлялось раньше, а услужливость мелкого червячка перед начальством.

— Мама дома?

— Да. Спит.

— А тетя Маша?

— В больнице. Там знакомый врач и Марина... — он забыл отчество дочери Красновских.

— Который час?

— Два ночи.

Помолчали.

— Надо что—то решать со свадьбой, — слабым голосом сказала Ксения.

— Мы говорили с Александром Николаевичем, — Борис произносил слова неторопливо, отчетливо проговаривал окончания имени и отчества. — Мы думаем, на время... — он кашлянул в кулачек, — ... пока здесь все закончится, тебе можно переехать ко мне. Правда, там еще не все готово. — И быстро добавил: — Или к моей маме.

Еще вчера Ксения мечтала перебраться к Боре из их с родителями тесной двухкомнатной квартирki в панельной многоэтажке. Боря «построил», как он говорил, сборный дом в деревне на наследственном участке в пяти километрах от города. Такие дома предлагали на бесчисленных строительных рынках. Средненький дом, обитый сайдингом древесного цвета, с террасой

и каминами на обоих этажах. И очень гордился своим приобретением. Больше, чем новеньким «Фордом» Санкт – Петербургской сборки. (Водил он недавно и в машине сидел очень прямо, окоченело цепляясь за руль, что забавляло Ксению.) Он любил поговорить о доме с Каретниковыми, уютно устроившись в кресле, за чаем. По каталогам без конца выбирал обои и мебель, паркет и подвесные потолки, унитаз и кафельную плитку, домашний кинотеатр и посуду под цвет гарнитура. Он любил читать объявления в специальных газетах о продаже земельных участков и недвижимости, сравнивал их удаленность от Москвы со своим участком и со стоимостью своего дома. Показывал Ксении цветные снимки выставочных интерьеров и образцов. Считал на калькуляторе, во что обходится стройка. «Не забудь: обязательно посади крыжовник!» – подшучивал отец. Хмельницкий обижался и замолкал. В такие минуты Ксении становилось жалко Борю. Как и Боря, она мечтала об усадьбе, о независимости, что давало собственное жилье, о деревенской тишине, безмятежной, являющей контраст непрестанной какофонии, с шести сторон окружающей квартиру в панельном микрорайоне. И даже сердцевидные, ржавые листья и тени бабьего лета на деревянных ступенях открытого крыльца, короткая подъездная дорожка к беленому гаражу казались особенными в своем доме. А маленький дом – просторным! И Ксения уже соглашалась и понимала, каких трудов и затрат Боре стоила «стройка».

Потом, в разговоре даже с малознакомыми «людьми их круга» – при них Хмельницкий с фальшивой непринужденностью произносил известные на всю Москву имена клиентов своей фирмы, – Боря хвастался домом, и девушка догадалась: дом, как свое жилище его интересует меньше, нежели символ самоутверждения среди тех, кого он считает выше себя по положению. Было, возмутилась мелочностью жениха, но призналась себе, что ей приятнее ездить на комфортабельном автомобиле, а не в метро; приятно, что украинские рабочие отделочники в доме, уважают ее, и называют «хозяйка».

Боря бывал до смешного скуп: выбирал в магазине макароны низшего сорта. Вне работы одевался бедно (но аккуратно). Жадничал. Все деньги откладывал на усадьбу. «Скупость, эта осложнения после нищенского детства, – оправдывался он. – Мама весь год копила на отпуск или мне на новую форму к школе». А то, вдруг угощал компанию в боулинге, отваливал царские чаевые официантке, покупал дорогие вещи. Приступы расточительности мстили униженной нищете, давали иллюзию богатства. Действительно: деньги, как водка делают человека чудачком. И хоть детство Ксении было благополучнее детства Хмельницкого (с его слов), но и она по привычке съедала котлету, после гарнира. Когда Ксения поняла, что беременна, все то, что она считала глупым скопидомством Бориса, вдруг приобрело значение. Теперь она думала о будущем ребенке. А ребенок не виноват, что его матери с детства привили презрение к вещам, потому что вещи ей доставались даром. С Борей она чувствовала себя независимой от счета за квартиру, от рассерженного заведующего кафедрой на работе, независимой от быта: быт можно презирать, но от него никуда не деться...

Ксении захотелось трусливо спрятаться от беды. Но и в пустом доме Бориса и в квартире его мамы, умной и терпеливой женщины, – она никогда не вмешивалась в их с Борей дела, – ей не переждать боль, не обмануть себя...

- Надо что–то придумать. Сережа погиб, и ... – устало проговорила девушка.
- Хорошо, хорошо. Завтра обсудим. А теперь спи. Выключить свет?
- Не надо...
- Ты бы сняла часики. Наверное, мешают. И стекло поцарапаешь.

Ксения не поняла. Борис приблизился укрыть ее. Пощупал запястье девушки: стрелка его часов пустилась наперегонки с пульсом Ксении, пульс легко победил. Увидел ее голые плечи и грудь и принужденно улыбнулся. Ей стало неприятно, что он так смотрит на нее. Борис присел на постель и попытался обнять девушку. Ксения отвернулась к стене, натянула одеяло до макушки и врылась в подушку. «Спать, спать!» Она зажмурилась. Но сон не приходил. Ей

почудилось, будто кто—то другой, обитающий в ней, обзавелся собственным разумом и не просто живет своей жизнью, но насылает на нее тоску. Ксения почувствовала, что соскальзывает в детство...

Ей шесть лет. Зеленое поле, бесцветное от зноя небо. Дворовые мальчишки впервые взяли ее в поход на гороховое поле – заветная мечта всей мелюзги микрорайона. Теперь там новострой. Ксюша была единственной девчонкой в компании.

На жестком багажнике страшно трясло. Ее вез чернявый, смуглый мальчишка, майка на его спине вымокла, плечи ходили вверх—вниз: он всем телом давил на педали, надрывался, чтобы не отстать от своих. Ксюша отбила копчик о раму, и крепилась, чтобы не плакать от боли. А ухабистый проселок не кончался.

Наконец, побросали велосипеды в пыль у обочины и ринулись в горох. Торопливо пихали стручки за пазухи, в полы маек, воровато оглядывались, не идет ли сторож, детская страшилка. Потом, во дворе будут хвастать, кто больше набрал.

Когда «шухер», невидимый из зарослей, забумкал кирзой, компания на велосипедах улепетывала в гору. Ксюша выбежала на дорогу. Ее забыли! К ней вразвалку шел огромный, обросший дядька, и опирался о толстый дрын. Его огромные кирзовые сапоги клубили рыжую пыль и грохотали, неотвратимо, ужасно.

Вжав голову в плечи, Ксюша побежала. Обернулась. Дядька был уже рядом: протянет руку, и в мешок. Она страшно закричала.

Велосипед выскочил из—за холма и, дребезжа на ухабах, понесся вниз. Девочка разглядела заостренное лопаткой лицо смуглого гонщика, ее возницу, его глаза—жала, хватавшие дорогу, чтобы не споткнуться раньше времени, и белые от страха губы.

– В сторону, малая! Бего—о—ом! У—у—у, бли—и—ин!

Затем, за спиной раздался металлический звон, грохот рухнувшего велосипеда, и брань мужика. Ксюша припустила, не оглядываясь.

Во дворе компания ждала их. Пацаны отправились искать друга. Вернулись под вечер. Смуглый катил велосипед со спущенными шинами и передним колесом восьмеркой. Грязная майка разорвана, на коленях и локтях запеклись ссадины. Приятели кружили рядом. Поравнявшись с Ксюшей, малый угрюмо проговорил:

– Из—за тебя ниппеля скрутили. Че орала? Че бы он тебе сделал?

И пошел к своему подъезду.

Наверное, они встречались с Сережкой раньше. Ксения не помнила. Каждое лето она жила в деревне у деда Андрея, отца матери. Дед разрешал внучке поздно ложиться спать, гулять вдоволь, и крепко пил. Проведя детство «на воле», Ксюша не верила, что, мол, тот, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до смерти будет потягивать на волю. Она не любила деревню: ей там было скучно. С наступлением холодов ее перевозили в Москву, к заводу «Серп и молот» в коммуналку бабушки Саши, матери отца. В двух комнатах из трех жила бабушка. В третьей – нелюдимый алкоголик с синими наколками на костлявом теле. Напившись, он садился на кухне на табурет, грозил выселить бабушку, называл ее «старой курвой», и обещал познакомить Ксюшу со своим сыном. Девочка думала, что сын такой же костлявый и в наколках, и боялась обоих. Потом отец Ксюши приволил участкового, и сосед неделями пил у себя в комнате. В квартире становилось тихо.

Через много лет, навещая бабушку, уже совсем старенькую, Ксения столкнулась в дверях с Борей: алкоголик умер, и легендарный сын приехал принимать наследство...

А тем летом перед школой родители привезли Ксюшу домой.

...Девушка с усилием встала, накинула халат и отодвинула нижний ящик компьютерного стола. Здесь из ненужного хлама – исписанные и разбухшие институтские конспекты, резинки для волос, рассыпание цветные карандаши, высохшие фломастеры и лак с блестками для ног-

тей – она извлекла полуразвалившуюся картонную коробку, и вернулась с ней на постель. Со дна эпистолярных наслоений – поздние письма на самом верху – Ксения извлекла открытку. С открытки «В первый раз в первый класс!» веселый заяц со школьным ранцем протягивал букет, а на обороте красным фломастером крупным ученическим почерком и с ошибками на окончаниях было: «Ксени от Сережы».

После торжественной линейки ее первого школьного сентября мама привела новых одноклассников Ксюши, кто жил по соседству, к ним домой на чаепитие. Сережка учился в третьем классе. Он «потерялся» у самого подъезда. Мама звала его с балкона, бегала к Красновским в соседний подъезд: те жили в однокомнатной квартире. Но Сережка пропал. Много лет после он признался, что стоял под балконом и слушал, как его ищут. Потом тихонько прокрался в сквер и сидел там до вечера. «Боялся, что пацаны во дворе увидят меня с мелюзгой!»

Их детство, в общем схожее с детством всех детей, было замечательно лишь личными переживаниями. Сережка замысловато написал в одном из поздних писем: «Я, наверное, понимаю, почему Мандельштам не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых—внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. В сущности, все выдающиеся автобиографии сводятся к рассказу об осмыслении детьми себя в старом мире».

И тут же в ряд детских воспоминаний Ксении встали дни рождения – полдюжины детей, всегда одних и тех же, тесные туфли, ноющие виски от туго стянутых в хвост волос, завязанных пышным бантом, безотрадная скука, которая приходила после того, когда было переиграно во все игры. И на этом параде прошлого ни разу не мелькнул Сережка!

Ксения перебрала несколько писем без конвертов, одолевая сопротивление их страниц. Вспомнила: старые письма раздражаются, когда их раскрывают. Копаться и перечитывать их, у нее не было сил. Облик Сергея, как часть ее детства и юности, расплывался. Ксения не могла выделить Сережу из толпы сносно примерных школьников. От этого ей стало пронзительно жалко его, как бывает жалко самых маленьких в классе детей. В детстве из множества чужих мы выбираем единственного друга. И это дружба навсегда, как бы жизнь не разводила и не расставляла на места. «Друг детства» самое емкое пояснение близости. Это – воплощенная память о лучшем в жизни. Их с Сережкой родители росли вместе в соседних подмосковных деревнях, и веселые байки Каретниковых и Красновских о молодости были общими для детей. Баба Саша и дед Коля с младшей сестрой отца тетей Лидой сначала жили вместе. Тетя Лида вышла замуж и уехала в Ленинград. Дед Коля умер...

Все это: фамилии знакомых родителей, прозвища друзей, названия окрестных деревень и поселков, легендарные бабки Кати и деды Васи, покоившиеся на сельском кладбище, и короткий прочерк между датами их рождения и смерти – прелюдия их с Сережкой жизни. Поэтому, думая о Сережке, Ксения чувствовала себя так, как если бы живая, она думала о себе мертвой.

Тут она вспомнила первое осознанное ощущение родства с ним.

На их улице в старом доме был свой живодер. В жилетке болотного цвета, в белой рубашечке и со скрипкой в футляре. Инструмент он ненавидел, но, чтобы не влетело от родителей, трепетно укладывал футляр на траву и в безопасное место, если играл в футбол с пацанами или бегал на заброшенной стройке. Он казался высоким, потому что с ним всегда ходили младшие. Приваживал малышей вкладышами от редких тогда жвачек. Ксюша нажаловалась родителям, что «скрипач» за жвачку заставил Светку—дурочку из школы для умственно отсталых снять перед ребятами трусы. Ребята прибежали смотреть со всей улицы и ржали. Родители не поверили Ксюше. В доме взрослые посмеивались и завидовали продвинутой семье «скрипача»: его отец был первым, как тогда говорили, «кооператором». Держал бакалейные лотки.

Всех хитросплетений дворовой политики Ксения уже не помнила. Но вот за гаражами, подвешенная на суку извивается рыжая кошка, а палач, упирается о футляр скрипки, усмеивается, и шутит с немногочисленными свидетелями казни. Малышня смотрела на расправу со страхом и любопытством. Кто—то из дворовых позвал Ксюху с Сережкой. Ксюша остолбе-

нела. Красновский молча срезал перочинным ножом веревку – кошка удрала с петель на шее – подошел к «скрипачу», – Сережка был на голову ниже него – и свинчаткой в кулаке выбил ему два передних коренных зуба.

«Кооператор» приходил к Красновским с двумя амбалами, так и не понявшими, зачем их привели, орал на Красновских, и называл Сережку «выродком». Отец Ксюши заступился за детей – на этот раз обе семьи поверили «показаниям» девочки – и взрослые переругались. С тех пор во дворе Сережку считали «хулиганом». Ксюше сначала было обидно за него, потом стало все равно, что думают о нем чужие. Она догадалась: есть правда для всех, и настоящая правда о человеке, которому веришь.

Ксения наткнулась взглядом на абзац: «Мы родились в стране лицемерной власти, где отсутствие свободы, человеческих прав, нищета народа, скудость духовных запросов (из— за векового отрицания самой души) и доброта простых людей произвели чудной гибрид...»

Девушка перелистала письмо. Это уже из военного училища. Ей, кажется, было шестнадцать. Ее раздражали высокопарные заимствования Сергея. Они жили в стороне от потрясений и ужасов своего времени, и узнали о них в институте из брошюр по новейшей истории. Где—то в прошлом, до отъезда Сергея был портвейн из горлышка в чужом подъезде, первая сигарета за компанию и «крупный» разговор с родителями. А потом учеба, репетиторы, английский язык, компьютерные курсы. Из той жизни она помнила вечернюю телепрограмму «Взгляд», и лет в одиннадцать балет «Лебединое озеро». На «балет» позже ее внимание обратили новые былинчики. А в тот день они с бабушкой Сашей телевизор не смотрели, и шептались перед сном, когда в дверь позвонили. Кряхтя и охая, бабушка ушла открывать. Сухенькая и седая, в ночной рубашке и в огромных войлочных шлепанцах, чтобы зимой помещались теплые домашние полусапожки: бабушка постоянно мерзла. Вошел Сережка. Ксения радостно чмокнула его в щеку.

– Александра Даниловна, скажите моим, что я у вас, ладно? Наврите, что электрички отменили, или, что я сплю. А то мать убьет. Во, гляди! Танкист подарил! Только починить надо! – И гордо предъявил Ксении старые армейские наушники. Объяснил: со старшими пацанами поехал к Белому дому; на Котельнической набережной стояли два танка. – На площади митинговали. Пацаны поехали домой, а я к вам.

– На что тебе наушники? – спросила Ксюша.

– В военное училище пойду!

– Зачем тебе?

– Нормальная профессия.

– Чай будешь, танкист? – спросила бабушка и пошаркала на кухню. – Наушники! – Ворчала она. Дети захихикали. – Все—то вам веселье...

– Говорю, танкисту: ты же не услышишь команду. А фиг с ним, отвечает, не давить же своих. Клевый пацан! – сказал Сергей.

– Там страшно? – спросила Ксюша.

– На площади? – Сергей пожал плечами. – Нет. Много людей. Натаскали столбы, арматуру,хлама всякого. А на дальнем конце Калининского проспекта у Садового троллейбусы ездят. Я ушел. Ерунда все это! Помнишь, в школе нам все время говорили: восстание декабристов, восстание декабристов! А это дворцовый переворот. Как при Екатерине или Павле. Нет, вся страна это что—то другое, – сказал он задумчиво.

Бабушка позвонила Красновским. Но Сергею все равно влетело.

С того дня Ксения условно делила жизнь до «наушников» и после.

После «наушников» Сережка оставил подработку в мелкооптовом табачном ларьке у Киевского вокзала – иногда по выходным он брал на рынок Ксюху (сейчас там построили огромный торговый комплекс); потом они ели мороженное и пили «Фанту», через нос газами вышибавшую слезы – и начал зубрить.

Сережка и раньше слету схватывал математику и решал за весь класс варианты контрольных. А по русскому ему тройку ставили из уважения к математическому дару: в двух буквах он делал три ошибки. «Поразительная тупость!» – гневно резюмировала его сочинения училка по русскому и литературе: худая, туго перепоясанная ремешком и в больших очках, похожая на стрекозу.

Чтоб подтянуть русский, Ксения диктовала Сергею. Размеренно ходила по комнате и, покачивая раскрытой книгой в ритм ударений в словах, смотрела на затылок ученика. Сергей старательно ковырял ручкой в тетради.

Как—то за диктантом он разогнул спину, потянулся и сказал:

– Муть—то, какая!

– Что муть?

– Литература твоя! Скучотища!

– Вот, дурак! Это ведь не анекдот, а художественный слепок нашей жизни. На века.

– В жизни так не говорят, не думают и не делают. В твоих книгах никто не пукает, не ссыт, не матерится...

– Вот, дурак! – Ксения захихикала. – Зачем описывать гадости? Художественным языком пишут о плохом или о хорошем.

– Да? А, что художественным языком напишут о нас?

Ксюша подумала и процитировала стихотворение Ахматовой:

– Все расхищено, предано, продано, черной смерти мелькало крыло... Это написано семьдесят лет назад. Разве сейчас не так?

Сергей насупился. Ксения на диване положила на колени книгу и сунула между страниц большой палец вместо закладки.

– И ты понимаешь эти стихи? – осторожно спросил Красновский.

– А что такого? Знаешь, во сколько лет Ахматова и Цветаева начали писать стихи? Думаешь, в двенадцать я совсем дура? Взрослые не знают, что им делать, потому что им врать. А мы врать не будем!

Сергей склонился над тетрадью. И вдруг проговорил:

– Я тут про Христа читал. Там написано, что религия наполняет смыслом даже пустые дни. Наши родители хотя бы пионерские галстуки носили. А у нас ни галстуков, ни наполненных дней.

– Давай сходим в церковь, – сказала Ксюша, понизив голос. – Блок и дочь великого химика Менделеева, его будущая жена, влюбились друг в друга в Исаакиевском соборе...

И покраснела. Сергей хмыкнул.

– Там скучно, попы и дымом воняет. Дышать нечем.

– Это ладаном пахнет. Бабушка говорит, если задыхаешься, значит грехов много. Потом станет легко. Если свечка трещит, это тоже плохо...

– Ксюха, ты смерти боишься?

– Не знаю. – Ксюша пожала плечами. – Говорят, душа бессмертна.

– Если она бессмертна, значит, она была всегда?

– Наверное.

– Тогда почему мы ничего не помним, что было до нашего рождения? А если мы не помним, что было раньше, вдруг мы забудем все, что сейчас.

– А ты помнишь, что было с тобой ровно пять лет назад, в такой же день? Так почему ты должен помнить то, что было с твоей душой до рождения? Может, мы запомним другое.

– Зачем мне другое, если я забуду тебя, этот день? В той книжке много непонятного. Там Христос воскрес и обещал воскресить всех, кто в него верит. Помнишь, кошку вешали. А, если и тот козел, который вешал, верит, воскреснет, и снова будет вешать кошку?

– Сережка, ты такие страсти говоришь! Если честно, я так плакала, когда поняла, что когда—нибудь меня не будет. Не буду видеть, слышать, думать! Даже в груди заломило.

– Ничего—то мы с тобой, Ксюха, не знаем! – Сергей вздохнул.

– Но ведь мы думаем об этом!

– До нас тоже думали, а толку! Ладно, диктуй!

Они сходили в церковь тем же летом. Цвела липа, и в парке по зеленоватому пруду со свежоокрашенным причалом плавали водные велосипеды. А какой—то пожилой мужчина, ссутулившись, курил на дощатом помосте и, облокотившись о перила, лениво стучал себя прутиком по брючине. Он сплюнул в воду и виновато улыбнулся детям.

– Видела его глаза? – спросил тогда Сергей. – Не хотел бы я так курить через полвека.

Бабушка Саша приехала к Каретниковым, и попросила Ксюшу и Сережу встретить ее на вокзале. Они вышли из автобуса в центре города, хотя жили на окраине. Когда дети, наконец, поняли, куда бабушка их ведет, они притихли.

– С чего это она? – прошептал Сергей.

– Я ей рассказала про наш разговор...

– Это ж давно было! Ничего себе, у нее память!

– Бабушка все помнит и все замечает. Особенно, что касается меня.

В спокойной улыбке Александры Даниловны, в ее фамильной прямоты осанке было что—то торжественное. Как торжественна была беленькая церквушка с позолоченным крестиком и облупившимся голубым куполом в кущах серебристых тополей и на той стороне пруда.

– Если что—то не понятно, спрашивайте, – сказала бабушка Саша.

У ворот мордатая цыганка с золотым зубом и в старой шали просила милостыню. Бабушка подала попрошайке монетку, вынула из сумочки на локте и повязала внучке косынку. Ксения и Сергей церемонно перекрестились, вслед за бабушкой.

– Это православный храм, деточки! Надо креститься справа налево, – подсказала цыганка.

Ксения покраснела, и благодарно кивнула. Сергей смущенно буркнул что—то.

Ксения не помнила в подробностях тот первый их с Сережкой поход. Она не знала обряд и не могла сказать, начиналась служба, или закончилась. Горбатенькая черная монашенка, кажется, собирала огарки и зажигала сложенные на подсвечник свечи. Пожилой, косматый батюшка в валенках со срезанными голенищами, видными под рясой при ходьбе, бубнил непонятные детям заклинания полудюжине прихожан, а потом окуривал углы кадилом. На черных, старых образах в столетних окладах мерцали отсветы лампад.

– Непонятно, а все равно хорошо, правда? – прошептала Ксения Сергею. – Вдвоем здесь совсем по—другому, чем, когда одна.

Вдруг он зашептал ей:

– Люблю высокие соборы, душой смиряясь посещать. Входить на сумрачные хоры, в толпе поющих исчезать...

– Ты знаешь Блока? – удивилась Ксения.

– Полистал, после того, как ты про Менделееву и Исаакиевский собор сказала. Но не понятно, что значит: «В своей молитве суеверной ищущей защиты у Христа, но из—под маски лицемерной смеются лживые уста»? Кого Блок называет двуликим?

– Тише! – зашептала бабушка. – Сережа молодец. Молитовку знает. И ты учи, Ксюша!

Дети переглянулись и прыснули смехом.

На улице Сергей сказал:

– То, что нам раньше про церковь говорили ерунда. Этой церквушке пятьсот лет...

– Откуда ты знаешь?

– Да вон же на табличке у входа написано.

Ксения обернулась.

– Как ты все замечаешь?

– Этой церкви пятьсот лет, – повторил он. – Мы не знаем имени инженера. А она на века. Мы умрем. А тысячи людей здесь были и будут! Представляешь!?

Ксюша чувствовала ту же гордость и умиление. Легкие слезы покатались по ее щекам, вымывая ком из груди и горла.

– Ты чего, Ксюша? – улыбаясь, спросил Сережка и взял ее ладонь. На его нижних веках тоже набухли две крупные росины.

– Ты даже не знаешь, какой ты хороший!

Они покраснели и отвернулись.

– Ничего, ничего, поплачьте, дети. Это из вас плохое выходит! – сказала бабушка Саша.

...Ксения прочитала: «В ста километрах от Москвы те же люди, а жизнь иная...», сложила письма в коробку и легла.

Ему тогда было лет четырнадцать, но выглядел он на два—три года старше, хотя всегда был невысокого роста. Ксения вдруг отчетливо вспомнила его простое и приятное лицо, всегда дружелюбное. Его непринужденность сообщала что—то солнечное его застенчивой и независимой вежливости среди чужих. Во всякой очереди он неизменно стоял последним, но в споре не уступал, если был прав.

Сейчас в воображении Ксении Красновский получался какой—то положительный. Это насмешило бы Сережку. Но, подумала девушка, тысячелетняя народная мудрость о добром поминальном слове для покойного не от ума, а от сердца. «Для покойного!» Слезы снова потекли по щекам. В голову ничего не приходило, кроме обычной ерунды. Как все пацаны их двора он из пневматической винтовки убивал ворон. Засунул в английский замок кабинета физика перед контрольной спичку. Утопил с приятелем в туалетном бачке классный журнал. Как—то «выбивал» со шпаной деньги у лоточника: бросил презерватив с бензином на его скарб, а старшие – зажгли: «ты не совершеннолетний, тебе ничего не будет!» Потом, сквозь зубы, чтобы не заплакать, рассказывал напуганной Ксении о продавце: «Говорит, маленькая дочь, денег занял. А эти скоты ржут!»

Но это было наносное.

После первой поездки на шабашку с дядей Левой, братом дяди Жоры, Сергей дурачил компанию в кафе книжными байками. Он тогда лет в пятнадцать впервые не поехал в Анапу...

Красновские и Каретниковы отвозили детей на лето к морю. Взрослые меняли друг друга на «вахте» в отпуске. Сергей учил Ксюшу плавать на спине. Они ловили у Высокого берега в камнях бычков голыми руками, приумножая незаживающие ссадины, и мама пеняла Ксении: «Не руки, а грабли! Ты не сможешь играть на инструменте!» (Ксения брала уроки музыки на фоно.) Это была целая книга солнечных и соленых воспоминаний: на море они с Сережкой впервые поцеловались – испуганно клюнули друг друга в губы, соленные от морской воды, а потом не разговаривали день, переживая неясное и новое в себе. И воспоминания о последнем морском лете воскресали весь год, если они оставались одни. Тогда они писали диктанты, слушали музыку через плеер, поделив наушники на двоих, и вздрагивали, соприкоснувшись руками...

А тем летом дядя Лева, такой же веселый, плешивый балагур, как его брат дядя Жора, только на четыре размера пиджака шире, увез племянника то ли в Казахстан, то ли еще в какой—то «стан». В письме Сережки, помниться, по бескрайним степям потекла речка Ишим с зубастыми шуками, поскакали казахи на кургузых лошаденках, приходили драться с шабашниками потомки бывших сталинских ссыльных немцы—механизаторы. И вдруг Сережка в кабине с рыжим молчуном на грузовике гонится за грузовиком обидчика. Или на кладбище у чужих могил рассуждает о бренности бытия. Или рассказывает, как урки зарезали кореша, который «откинулся» с зоны и пахал целину.

Ксения показала письмо отцу. Тот ухмыльнулся.

– Лева приобщает Серегу к Шукшину. Это его любимый писатель, – сказал он.

В захудалом кафе, куда Сережка повел друзей и Ксюху после возвращения с шабашки, – вдвоем они иногда заходили сюда из чистого сострадания к неудачникам – она спросила его:

– А зачем ты мне врал в письме?

Он даже не смутился.

– Не врал. А приукрашивал. Как твои классики.

– Самому, что же рассказать нечего?

– Почему? Мы ехали трое суток только в один конец! Самой надо увидеть!

– Так говоришь, будто я нигде не была!

– На море самолетом. Иногда поездом туда и обратно!

– А что интересного в твоей степи? Ничего!

– Там люди. Такие же, как мы. Только мы здесь сносно живем и жалуемся, а они там выживают и не жалуется! Помнишь, как твой папа купил у бабушки на станции сладкую дыньку и вареных раков. Мы кушали и смеялись, вспоминая, как бабушка торопливо прячет выручку. А есть места, где таким бабушкам ни дыньку, ни раков некому продать. И ни дыньки, ни раков нет! Если человек не замечает, что у соседа в больших ушах вата, или разные шнурки на ботинках, может с человеком что—то не так?

– Ты так разговариваешь, будто я в чем—то виновата!

Сергей улыбнулся.

– Дурочка! Ни в чем ты не виновата! Вот ты Ахматову наизусть знаешь, а про степь не знаешь. Как сухой урожай сжигает, не видела.

– Не очень надо!

– Но, если мы так расплозились по континенту, значит, кому—то до нас это было надо.

– Ну, хватит! Степь далеко. Расскажи что—нибудь веселое!

И Сергей врал, как они с дядейлевой и его приятелем, захватив цепного кабеля Тузика, на выходные поплыли в лодке по Ишиму. Пацаны верили, а Ксения смеялась, потому что недавно смотрела этот фильм: там на одной нудной ноте – как везде – лицедействует знаменитый и бездарный народный актер...

Потом Сергей шабашил в Туве, на Алтае. Ксения была слишком маленькой, чтобы понимать все. Из прошлого выступали заколоченные накрест окна крайних домов на безымянных станциях, зазвучало Сережино: «а представляешь, как тоскливо живут, хотя б километрах в десяти от железной дороги!» За прикрытыми веками замелькали пьяные мужики, бескрайняя тайга из киножурналов, и Сережка, убеждавший Ксюшу, что он все это видел «вживую»...

Папа и дядя Жора с коллегами из института до «наушников» тоже ездили в отпуск на шабашку. Вернувшись, отец купил маме модный сарафан из вареной джинсы. «Строй отряд» кандидатов и докторов наук по обыкновению отмечал приезд у Каретниковых. Говорили про дом и новые квартиры. У Каретниковых подрастала дочь. У Красновских «разнополые дети». Сколько Ксюша себя сознавала, столько папа и дядя Жора ходили после работы «отрабатывать жилье», когда уже и надежды не было, что институту оставят долгострой. Мама и тетя Маша посмеивались, что руки у их мужей в редкой степени бестолковые. Но мужчины считали себя знатоками ремесел и мастерами, потому что росли в деревне, могли сбачать на гитаре попури из песен Окуджавы, кое—как натянуть между деревьями детский гамак, подправить разводным ключом руль велосипеда и исполнить множество пустяковых фокусов, которых полно в запасе у всякого русского человека. В детстве Ксюша свято верила в мастерство папы, коль он умел изобразить пальцами на стене теневого зайца с мигающим глазом. В четыре руки папа и дядя Жора действительно закончили ремонт. Квартиры друзья выбрали рядом.

Сарафан надолго стал последней дорогой вещицей Каретниковых, а новая квартира последним, крупным везением.

Даты, лица, все смешалось...

...Блеклое утро дремало за окном. Ксения из постели осмотрела много раз виденные бронзовые цветы на обоях и островок осыпавшейся штукатурки у стержня люстры, веселую рожицу, нарисованную на стене над спинкой стула и карандашную дату заселения в квартиру. Ксения не ощутила прежней боли, но жуткое чувство утопления в окружающем мире и растворения в нем. Она поднялась и накинула халат. Машинально вскинула к глазам запястье. Золотые часики с браслетом бережливо покоились на столе.

На кухне отец докурил сигарету и поискал, куда в переполненную пепельницу воткнуть окурочек. Воняло табачным перегаром. На плите пыхтел чайник. Ксения выключила свет и опустилась на табурет.

– Ложился? – спросила она.

– Да. Немного поспал.

– Боря здесь?

– В большой комнате. Спит.

– А дядя Жора?

– Что дядя Жора? – отец покосился на дочь: забыла, что ли? – Уехал с Вовкой за Сергейей. Он вздохнул. Помолчали.

– Что будем делать? – спросила Ксения.

Оба избегали смотреть в глаза. Отец усиленно потер спинку носа. Поднялся и долго прикуривал от плиты. Он уворачивался от пламени, чтобы не опалить густые брови. Ксения не вытерпела: «Папа!» Тогда он выпрямился, обуглил кончик сигареты и сладострастно затянулся.

– Думаю, Боря прав. Переезжай к нему. Или к Наталье Леонидовне...

– А дальше? Съедутся гости. Как ты это представляешь?

– Ну, как, как? – Он беспомощно хлопнул по бедрам и сел. – Не знаю, Ксюх!

Допустим, они договорятся о переносе регистрации, о банкетном зале. Но, как? И во сколько это обойдется? Они не Боря! Хотя, и у зятя карман не бездонный. «Стройка!» А им придется кланяться, одалживаться. Родственники, друзья поймут. Но Каретников пригласил свое новое начальство. Ему выдали «премию» под свадьбу – подарок от коллектива. Беспроцентную ссуду. Как им объяснить? Чего огорода городили, если теперь все отменяется? Он заискивал, занятые люди отложили дела, обещали прийти. А Борис! Его гости! Им то он, что скажет? «Эх, Сережка, Сережка!»

Александр Николаевич исподлобья посмотрел на дочь. С детства набалованная! Но ведь детство, когда—то заканчивается! Мертвого не воскресишь. Надо думать о живых. «Свинство! Свинство! А ведь это сын моего друга!» У Каретникова засвербело в горле и носу, и он прикурив от окурка новую сигарету.

Главное, конечно, было не в хлопотных пустяках, а в том, что дочь беременна, и откладывать свадьбу больше нельзя. Ныне, конечно, мать одиночка не диво, но к чему мудрить при живом отце?

Дочь что—то говорила. Каретников прислушался.

– Пап, ты не все знаешь. Я не все рассказала. Свадьба невозможна...

Ксения покраснела и закрыла глаза.

– Ну, что там еще за тайны мадридского двора? – проворчал отец и внутренне напрягся от нехорошего предчувствия.

– Не могу, – прошептала дочь. – Думала: так проживу, а не могу даже сказать...

Неслышно вошел Борис уже в галстук и в белой рубашке. Бледный после сна. Ксения глубоко вздохнула, торопливым движением отерла мокрые глаза и щеки, и виновато улыбнулась отцу и жениху.

– Ничего. Это так. Слабость, – пробормотала она.

– Доброе утро! – Борис приветливо улыбнулся, и пробежал быстрым взглядом по лицам. У «невесты» заплаканная и чопорная мина. Тесть нахохлился. Значит, говорили о свадьбе и убиенном «офицерике», так Хмельницкий про себя называл бывшего ухажера Ксении. «Ну, сейчас мало не покажется! – мысленно съязвил он. – Бабла бы хватило на ахи!»

Хмельницкий поднял крышку чайника – вода давно кипела, – обжегся паром, грохнул крышкой и схватился за мочку. По—свойски достал из буфета чашки, заварку и сахарный песок.

– Лимон есть? – полез он в холодильник. – Лимона нет! – и загнусил: – Пуру – пуру...

– Боря! – сказала Ксения. – Давай... перенесем свадьбу! – она не решилась «отменить».

Хмельницкий сполоснул заварной чайник и вытер тряпкой руки.

– Я это уже слышал. Как ты это представляешь?

Ксения глазами Бори охватила возможные осложнения, столпившиеся за его вопросом, согласилась: все не просто. Но теперь ей во что бы то ни стало, нужно было отсрочить, если не саморазоблачение, то хотя бы «торжества».

– Это – раз. – Продолжил Борис. – И два: а зачем переносить?

Каретников почувствовал поддержку и поерзал на табурете. Ксения, привыкшая покривать на родителей, и – к покладистости Бориса, в другое время закапризничала бы. Но сейчас она потупилась.

– Сережка был нам не чужой, – проговорила она.

– Да, да, не чужой, – согласился Борис. «Еще подумает, что свожу с ним счеты!» – Но для других он сосед. Никто! Как я объясню своим, и на работе. И что объясню?

– Ну, как—нибудь. Ты его тоже хорошо знал!

– Да. Знал... – Борис помялся.

Он отвоевал невесту у «офицерика», но вместо того, чтобы наслаждаться трофеем, попал в плен: полюбил, как любят впервые! Ксения подавляла его волю, и Хмельницкий не умел ей возражать. «Чхать мне на твоего Сергея, и на ваши делишки до меня!» – едва не ляпнул Борис, отвернулся, и выражение у его затылка было презлое.

– Это не день рождения. Не юбилей, – настаивал он. – И...

Ксения вспыхнула.

– Ну! Договаривай про мою беременность!

– Подожди, дочь! – пробасил Каретников. Молодежь! Наговорят лишнего! – Думаю, тебе все же стоит переехать к Наталье Леонидовне. А мы тут уладим...

– Нет! – буркнула Ксения. – Папа, я не могу тебе всего сказать. Но, если ты, Боря, меня любишь, лучше перенесем свадьбу. – Голос ее не предвещал ничего хорошего. Мужчины переглянулись. В тот же миг девушка испугалась своей смелости и сникла.

Допили чай и разошлись. Борис уехал по делам. («Подвезти до метро?» «Утром пробки. Я на электричке».) Отец и Ксения на работу. Мать хлопотала у соседей.

Холодный ветер растолкал облака. На улицах подсохло. В мокрых лунках на асфальте далеко внизу виднелось хмурое небо.

Безлюдными дворами Ксения вышла к своей бывшей школе. Она не была здесь с тех пор, как поступила на «иняз» университета.

У школы играли дети. Длинно прозвенел звонок. У пружинной двери затолкались и загалдели рюкзаки, банты, гольфы. Двор опустел. Трое старшеклассников, сутулые, с книгами под руками в карманах вразвалочку пошли к домам. Они через слово «млякали» петушиными голосами и сплевывали на асфальт. Ксения опустила на лавку с выломанной доской и ножевым признанием какого—то Васи, какой—то Люсе. Отбитая штукатурка старых стен, мусор под решетками подвального этажа, асфальт, разлинованный под забеги по физкультуре, плешивые газоны и общипанные до прутьев верхушки кустов. Ничего не изменилось. Ксения

запахнула плащ. Ветер пытался отодрать от черного асфальта мокрый лист. Уголок листа тепался и не сдавался.

Что—то унылое и безотрадное нависло над этими местами.

Ксения постаралась вспомнить что—нибудь из школьной жизни. В памяти ничего не всплывало, кроме шпаргалок, зубрежки, прозвищ учителей...

...Здесь под аркой вечером она увидела, как Красновский целуется с рыжей дурой из своего класса. Перед «рыжей» стелились все мальчишки школы. А та смеялась над ними, сама выбирала, с кем целоваться. В спортивном городке школы обычно собиралась их с Сережкой компания. Бренчали на гитаре, сосали по кругу пиво из двухлитровых бутылок. В тот день ветрило. Никто не пришел. Только Ксения и эти двое: она боялась шелохнуться на скамеечке за морщавым тополем.

Тогда она и бросила Сергею в почтовый ящик в запечатанном конверте Ахматовское стихотворение «...Будь же проклят! Ни стоном, ни взглядом Окаянной души не коснусь, Но клянусь тебе ангельским садом, Чудотворной иконой клянусь. И ночей наших пламенных чадом, — Я к тебе никогда не вернусь».

Ночей никаких не было. Сергей никогда даже не целовал Ксению, как рыжую.

Он постучал в двери той же ночью. Старался шутить, и его глаза были похожи на глаза осторожного кота:

— Ксюха, ты ревнуешь? Влюбилась, что ли?

— А мне можно только диктанты диктовать! — Ее зрачки блестели вызовом в полумраке прихожей, — дальше она его непустила! — и обидой дрожал голос.

— Целуют, еще не значит, любят. Иногда не целуют, потому что любят, — сказал он и ушел.

— Ксюха, — раздался от туалета виноватый полушепот отца, — его там застал разговор, и он трусил выйти, — заканчивайте вашу ромашку. Час ночи!

— Подслушивать — гадко! — Она кинулась в комнату и там разрыдалась от души.

С Борей было иначе.

Они встретились второй раз на какой—то скучной вечеринке у общей знакомой. Ксения едва вошла, а Борис уже кланялся ей с улыбкой приветствия из—за спин гостей: «Здравствуйте, соседка!» Хозяйка квартиры, девушка с усталыми глазами и машинальной улыбкой, как и Ксения, заканчивала иньяз. Боря бывший одноклассник ее старшей сестры Лены: они, кажется, пришли вместе. Пьяный гость сунул в руки Ксении тарелку и раздавил в ней сигаретный окурок в губной помаде. Девушка отдала «угощение» парню, мастачившему из бумажных салфеток лошадок.

На Хмельницком была белая рубашка и галстук. Он, сидя на подлокотнике кресла у кого—то над головой, потягивал коктейль через трубочку.

— Все русские специалисты по английскому языку, кого я встречал, — вальяжно вел он с хозяйкой заскорузлый спор (ее участие в «споре» ограничивалось вежливым молчанием), — поразительно глухи к родному языку. Глухи до тупости! Возможно, мне не везло на этих специалистов. У них отсутствовало «воображение слова», а было лишь машинальное воспроизведение идиом. Как заготовки на карточках: вынимаешь нужную фонему в нужное время. И уже изучаешь не сам язык, а методы обучения способам обучения разным методам запоминания устойчивых выражений. — Он засмеялся над собственным, как ему показалось, удачным каламбуром. — Как—то на курсах английского языка для домашнего задания я диктовал сочинение на русском, а знакомая с лету переводила на английский. Погоди, говорит. И бац! — готовый блок. Бац! — другой. Удивительно, но в группе даже преподаватели аплодировали этой стряпне, как литературному перлу...

— А вы литератор и, наверное, гений? — из корпоративной солидарности съязвила Ксения.

– Боже упаси! Гений – это несхожесть. А я – увы! – он пожал плечами и по—пингвины хлопнул себя по бедру и развел свободную прямую руку. – К тому же в мире много более полезных вещей...

– Чем что?

– Вы одеты не в стихи Некрасова. И, надеюсь, питаетесь не сочинениями Дюма.

– Да, но ведь литература, искусство и все виды творчества отличают нас от животных.

– Изобретение телевизора, самолета, холодильника тоже творчество. Но люди не помнят имен тех, кто облегчил их жизнь. Зато помнят «Кому на Руси жить хорошо!»

– Судя по вашему сытому разговору, вам жить хорошо!

– А сытость у вас не в почете? – Хмельницкий улыбнулся.

Ксения пожалала плечами. Собеседник был явно не их нищего «филологического» круга и вел себя немного свысока. Вальяжные манеры «заочного соседа» раздражили девушку: прежде она слыхивала от Хмельницкого старшего подробности о скудной жизни его бывшей семьи и терпеть не могла «из грязи в князи»...

– Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самонравие, самое наглое, писал классик. Он, увы, не изобретал холодильники, поэтому вы можете пренебречь его мнением.

– Перемена к лучшему та же удача. А удача приходит к тому, кто ей не мешает. А вы колючка! – сказал Борис. – Понимаю, мой отец был словоохотлив.

Девушка покраснела и насторожилась: собеседник был проницателен.

Потом они танцевали. Ксении мерещилось, что одеколон и пот от сорочки Бориса боролись за преобладание. (Ей всегда казалось, что мужчины в галстуках мучаются от духоты и потеют.) Одеколон побеждал и медленно вытеснял антипатию к парню.

– Вы хорошо танцуете, – проговорил он. – А еще у вас красивые руки.

В ее довольно больших, с крупными костяшками, руках действительно таилось очарование. Но ей стало неприятно, что именно он заметил это.

– Ваши банальные комплименты могут не понравиться вашей девушке.

– Действительно банальные? – удивился он, и посмотрел на сестру хозяйки, крашенную блондинку без возраста в леденцово—розовых пятнах на скулах и с тусклыми глазами. Зубы у нее были великоваты для ее маленького бледного рта. – С Леной мы давние друзья. То есть, знаем друг о друге гораздо больше, чем полагает каждый из нас.

– И что же вы знаете о Лене больше, чем полагает она?

– Люди – как числа, есть среди них простые, есть иррациональные. Лена принадлежит к первому разряду. Нет ничего скучнее хорошенькой женщины, обожающей повеселиться. Это настраивает молодых людей на легкие отношения с такими женщинами, и, в конце концов, молодые люди, ищут новые впечатления. У вертлявых же девиц неповоротливые мозги и они лишь годам к тридцати начинают догадываться о изъяне в своем отношении к мужчинам. Тогда в жалкой попытке обмануть одиночество, они как можно чаще появляются на людях. Но это уже не приносит отрады не людям, не им. Лена, конечно же, не узнает об этом, если вы не расскажете ей, – без перехода закончил он и улыбнулся.

– С какой стати я стану рассказывать? – Ксения оторопело уставилась на парня. – Послушайте, а от чего вы так нахальны и самоуверенны?

– Потому, что вы обладаете воображением, а это мышца души. Потому, что именно это вы хотели услышать о моей спутнице, ибо, как и я считаете, что разум Лены не претерпел изменений с тех давних пор, как вы ее знаете.

Лесть была приятна. Борис цепко следил за реакцией Ксении на слова, и атаковал:

– Вам я не нравлюсь, потому что вы думаете о другом. И на таких вечеринках злитесь, что его нет рядом.

– Я не злюсь, а люблю. Но вас это не касается.

– Он офицер и в юности вы дали друг другу зарок верности...

– То, что вы навели обо мне справки еще не повод говорить по душам.

Щеки Бориса уличено заалели.

– Но вам хочется поговорить о нем. И не с подругами: они будут завидовать и поучать.

А я готов стать на этот вечер искомой жилеткой.

– Спасибо. – Ксения подумала. – Сначала мы решили, что мне нужно закончить институт.

Потом я испугалась гарнизонов, неустроенности.

– Это не испуг, а здравый смысл. Я думаю, он хороший человек, если не потащил вас за собой во чтобы—то ни стало.

– Он – да. А я – нет. Удобно прятаться за отговорки.

– Тогда бросайте все и езжайте к нему.

– Не пустят. Там война.

Оба понимали подоплеку слов. Она устала ждать и покаянием выменивала оправдание меленькой лжи, что по каплям вытесняла терпение. Он же, набиваясь в ее друзья, принимал малодушие и ложь, взамен на корыстное право понравиться ей, а затем, как знать, может, заменить легендарного соперника, победив память о нем молчаливым всепрощением. И негласный сговор делал их сообщниками.

Лучше узнав Борю, Ксения поняла, что в целом первое впечатление о нем составила верно. Хмельницкий боготворил маму и, окончив политехнический институт, по ее совету поступил на службу в крупную строительную фирму. Сначала он боялся даже для себя иметь собственные взгляды. Ишачил на учредителей фирмы, и выслужился в начальники с приличным окладом. Тогда, среди тех, кто не мог навредить Хмельницкому по службе, он уже говорил одни только истины, и таким тоном, точно открыл их сам. Самоуверенность глушила в нем природную пронизательность. Проснувшееся чванство побеждало в нем скромность и воспитанность. Ксения язвила над слабостями жениха. Борис побаивался девушку (как, впрочем, всех женщин), тайно злился на нее, будто ее глазами смотрел на себя маленького с кухни, где буянил пьяный отец. Про себя он считал, что Ксения сочетает здоровую внешность с истерическими «закидонами»; лирические порывы – с очень практичным и очень плоским умом; дурной нрав – с сентиментальностью. Но ее порывистый характер он предпочитал холодному расчету женщин—хищниц, желавших устроить свою жизнь за чужой счет.

Ксении было удобна эта крошечная власть над ним, и не обязывала ни к чему. Даже, когда она уступила Хмельницкому, обыденно, в бывшей их коммунальной квартире. Она снисходительно принимала его ухаживания: поездки к его знакомым в красивые и приятно раскидистые дома, походы в ночные клубы на презентации за казенный счет. Это было веселее их с родителями тесного огородика среди садовых сараюшек соседей, веселее скучных вечеров у телевизора...

Борис выгадал даже на их связи. Бабушка Саша на теплое время года уезжала на дачу дочери под Питер. Борис договорился с Каретниковыми сдать комнаты соседки (с ее согласия), и свою комнату внаем, как целую квартиру. «Это выгоднее, чем сдавать комнаты в коммуналке. Доход честно: вам за две, мне за одну комнату. Ремонт за мой счет!» – учел он «инженерские» доходы Каретниковых. Так бабушка навсегда осталась у Ксениной тети, чтобы бы помочь сыну, и чтобы у внучки сложилось.

«Хваткий парень!» – иронично сказал Александр Николаевич о Боре. А однажды Ксения случайно услышала, как отец сердито говорил жене:

– ...Они тихо работают. Носят галстуки. Наживают. Отдыхают за границей – сраные европейцы на неделю! А потом продолжают свою мышиную жизнь. Не понятно, о чем они думают, кроме денег, и на фига им все это надо!

Помимо выгоды за квартиру, догадывалась Ксения, Борис втирался в их дом.

Тогда она впервые задумалась об их отношениях с Хмельницким. С Борей Ксения не тревожилась за будущее. Со своей квалификацией он устроится на любое приличное место. А за Сережку она бы боялась всегда! С Сережкой она бы вырывала у жизни то, что сейчас получала почти даром, получала за крошечное отступничество женщины при муже, а не об руку с ним. Работа, диссертация, все, что хоть сколько—то интересовало ее, с Борисом приобретало необязательную декоративность. С Сережкой значение имела и завоеванная степень с ее мизерной прибавкой к зарплате, и каждый день, который нужно прожить, а не праздно переждать, и сентиментальная память о коммунальных комнатах бабушки Саши, выгнанной в Питер, о комнатах, где они так много передумали и переговорили с Сережкой...

Между ней и Борисом еще ничего не было ясно. Хмельницкий заходил к Каретниковым с цветами и коробкой конфет, садился на краешек дивана, напряженно потирал руки. «Боря, снимите пиджак. У нас исправное паровое отопление!» «Спасибо, Вера Андреевна!» Улыбался шутке и не снимал. Однажды он застал Красновского. Родители праздновали у соседей приезд Сережки в отпуск. Разгоряченный водкой, дядя Жора весело позвал молодежь к столу. Боря отказался и засобиравшись домой. Но все не уходил. Тогда Сергей предложил сыграть в шахматы.

Ксения из кресла иронично следила за соперничеством парней.

Оба злоупотребляли эффектными ходами, бессмысленно рисковали и очень хотели выиграть. После неизвестного ей гамбита в партии установилось напряженное равновесие.

– Ты, наверное, там часто в шахматы играешь? – заговорил Борис. – Чувствуется хватка.

– Когда как. У вас дивиденды тоже, наверное, в шахматы разыгрывают?

Борис pokrивил рот.

– Ксения говорила, твои отец и мать кандидаты наук? Ты, вроде, на архитектурный собирався. Сейчас все строятся. Почему именно армия?

– Чтобы не загнаться на кандидатских харчах.

– А серьезно? Неужели в Москве нет достойной работы... даже для военного?

– Боря, не нарывайся. У Сережи разряд по боксу, – насмешливо предупредила Ксения.

Хмельницкий даже сидя казался на полголовы выше Красновского. Крахмальный ворот сорочки натер шею, и раздражал. Хотелось снять галстук, как он это делал, когда они оставались с Ксенией. (Ничего, пусть «офицерик» полюбуется его новым золотым зажимом к галстуку.) Но теперь в комнате Ксении, куда его не пустили, была не прибрана постель. А офицерик развалился в кресле по—домашнему в футболке и босой.

– А ты полагаешь, настоящая жизнь только в отечественном Лихтенштейне?

– Ладно, поговорим о квасном патриотизме. О тех, кому ты там прививаешь любовь к родине автоматными очередями. Ничего, что я пользуюсь давним знакомством...

– Ничего, валяй.

– Ну, хорошо, ты навел конституционный порядок. А дальше, что? Допустим, женился. Ведь надо где—то жить, кормить семью. Вечно воевать не будешь. Войска там, говорят, меняют на милицию. Стоит ли за штуку зелени в месяц подставлять голову? Правда, я не знаю расценок, может, там больше платят. А патриотизм за бабки, это уже...

– Борис! – Ксения побледнела.

– Перебор?

– Нормально. – Сказал Сергей. – А то сидим, как на именинах.

– Спасибо. Патриотизм за бабки это уже наемное убийство. Или нет?

– Военным всегда платили. Кушать—то хочется. Может, не много платили. Обсудим этику войны? По Толстому? По Ленину?

– Ты прав, не стоит. Ладно, объясни, зачем горбатить на страну за гроши, нюхать тухлые солдатские портянки в забытых гарнизонах, по приказу ломать жизнь народа, которую не понимаешь. Поверь, я насмотрелся на толстые рожи, которые очень правильно говорят по телевизору о нищете «своего» народа, и в «Метрополе» лакею платят чаевые, на которые

мы с мамой раньше жили бы неделю. Чхать я хотел на страну коммунистическую, антикоммунистическую, развивающуюся или капиталистическую! Мне безразлично, будет у нас свобода слова, или за это снова погонят на лесоповал. Интеллигенция всегда недовольна, а остальных интересует лишь свой карман. По мне, пусть бы болтали: когда орут все, никого не слышно. А под шумок легче делишки обстрипывать. Я зарабатываю бабки для того, чтобы моя мама, я, и люди, которые мне дороги, жили по—людски и не зависели от своих слуг. Ты же не армейский сапог, тупо выполняющий команду «фас»! Не самодовольный мясник, который, размозжив человеку череп, чувствует себя героем! Ведь мы с тобой примерно одних лет, и в детстве ходили по одному двору...

— Да только замечали разное. Ты служил?

— Закошил. Ну и что?

— Что же ты так вольно рассуждаешь об армии? Каждый занимается своим делом. Твоя мама воспитала в тебе своего кормильца. Мои родители изучают не интересную тебе экономику. Конечно, хочется получать за то, что мы умеем лучше всего, хорошие деньги, и выглядеть не хуже тебя. Но ведь ты не борешься за выживание или за краюху хлеба. Ты хочешь иметь больше того, что имеют другие, и, чтобы за это тебя уважали. А не все могут быть успешными риэлтерами. Не все хотят только копить. Ты же не винишь поэта за то, что он не может не писать стихи, даже если за них ему не платят...

— Ах, люблю я поэтов, забавный народ...

— Есенин тут ни при чем. Моя задача, чтобы все делали то, что им нравится, и никто никому не мешал. А оружие, пока самый доходчивый для уроков аргумент в споре.

— Допустим. В Прибалтике, Венгрии, Чехословакии, Афганистане, кто мешал нашим родителям, тебе, мне? У Крылова есть поучительная басня. «Два мальчика».

— С каштанами что—то...

— Угу. Один другого на дерево подсаживает, что бы второй обоим нарвал каштанов. Помнишь мораль? Кажется так: «Видал Федюш на свете я, которым их друзья, вскарабкаться наверх усердно помогали, а после уж от них — скорлупки не видали!»

— В смысле, что Кремль на Кавказе руками армии дерется за нефтяную трубу, и мы шестерки в крапленой колоде?

— Это ты сказал...

— Есть и другая, не шутовская мораль. Армия государство при государстве. Где узаконен особый порядок. Закон над законами гражданской жизни: своя прокуратура, суд, тюрьма. Если страна благоденствует, значит, это особое государство точно выполняет свою задачу. И пока это так, чужие нас будут бояться и ненавидеть, свои — уважать и гордиться нами, а доморощенные князьки хапать с оглядкой. Если бы армейские сапоги всегда тупо выполняли команду «фас», а не думали, как в девяносто первом году, сейчас бы ты не рассуждал вальяжно, а коптел бы мелким клерком в каком—нибудь СУ. К тому же, — Сергей усмехнулся, — из армейских сапог, как ты говоришь, вышли Лермонтов, Толстой, Куприн, Гумилев и лейтенантская военная проза.

— Пафос—то, какой! Хорошо вам там мозги промывают! — ноздри Бориса возбужденно расширились. На щеках заалел мальчишеский румянец. — Очевидно, тут все восхищаются тобой, прожженным воином...

— Не увлекайся, Боря! Оставь личные антипатии при себе, — сказала Ксения.

— Хорошо, извини. Объясни мне, паршивому шпаку, не нюхавшему пороха, за что ты лично воюешь? Что дала эта война простым людям? Взорванные дома на Каширке? Норд—ост? Беслан? Может, мы наворотили там такого, в чем теперь стыдно признаться в нашей стране вечных тайн, за что теперь они слепо мстят, а жизнями платят простые люди? Ах, да, задавать об этом вопросы считается предательством великого дела сохранения святой Руси.

Правда, нам не нравилось, когда бомбили православную Югославию. Почему должно нравиться им?

– Мне там тоже многое не нравится. Но мы ведь не базарные бабы, чтобы обсуждать сплетни! – сдержанно сказал Сергей.

– Да. Извини. Заносит. Но вот, Европа от нас отлягивается. Кому нужны нищие дикари. Может нам сначала лучше сделать так, чтобы к нам просились, а не тащить к нам за ноздри. Торговать с ними на наших условиях. Хотя, что мы можем предложить твоим зверькам: КАМазы, нефть и космические ракеты, чтобы они летали на рынок в Москву спекулировать зеленью? Или ты обращаешь их в православие, чтобы на сдачу услышать не «аллах Акбар», а господи помилуй?

– Цену на зелень сбиваю, – пошутил Сергей. Хмельницкий хмыкнул. – Может, чтобы зауважали, хватит хапать. Пора что–нибудь стране оставить. Или дорого стоит?

– Не по адресу. Я знаю цену лишь своей работе.

– А я – своей. Предлагаю ничью.

– Согласен.

Хмельницкий простился с Красновским кивком и ушел. Ксения от проема сказала при-
нужденным тоном:

– Ну, что, пошли ко всем?

– Поговорить надо...

– Сережа, не начинай опять! Я все знаю! Но я не могу уехать из Москвы! Я боюсь. А рас-
писаться и жить я тут, а ты там, какая это семья!

Он сделал губы уточкой и утвердительно кивнул.

– Ты умный, честный, хороший. Но Боря прав. Вы оба делаете каждый свое дело. Да, он старается для себя и близких. Ты – для всех. Жизнь переменялась. Помнишь, в детстве мы говорили друг другу правду. Ответь мне: ты воюешь за правое дело?

Сергей вздохнул и мягко прихлопнул по подлокотникам кресла.

– Не знаю, Ксюха! Там много таких, кому это нравится. Не думать и выполнить приказ.

– Но ведь ты не такой! Ты же мучаешься. Ты шел защищать...

– Ксюша, отсюда многое не понятно. Знаем, где ночует бандит, объявленный в розыск. Настоящий зверь. А у нас приказ, его не трогать. Он глава тейпа. Местный божок. Договоримся – мир. Шлепнем его – еще его внуки партизанишь будут. Проще, ему звезду героя навесить и сделать президентом. Твой знакомый, с золотой булавкой, проповедовал, что убивать людей – преступление. Это известно еще со времен Моисея. Но даже Иисус не сумел словом остановить убийство. Если на войне рассуждать, ничего не будет: ни этой страны, ни нас с тобой. Я о другом хотел поговорить.

Ксения сокрушенно кивнула и проговорила бесцветным голосом:

– Ты будешь покорять свои маленькие вершины, а не просто жить. В сорок пять вый-
дешь в отставку подполковником со смешной подачкой. Устроишься начальником ЧОПА. Мы поселимся у родителей, станем копить на холодильник, на свадьбу детей, как копили до нас. Неужели армия твое призвание? Если это лишь профессия, почему нельзя ее поменять! Почему мы должны калечить свою жизнь и через двадцать лет стариками прийти к тому, что нам и так было дано. Почему?

Сергей помолчал. Всегда уравновешенный сейчас он, казалось, растерялся.

– Да. Мне нечего тебе предложить, кроме нашего прошлого и моей любви. Мне все время казалось, что в любви есть какой–то тайный изъян. Друзья могут поссориться и разойтись, и не видятся годами. И родные тоже. Но нет в этом той боли, как бывает с любовью.

Ксения уперлась сзади ладонями и прислонилась на косяк. В груди у нее заныло.

– Друзей можно иметь тысячу, а любить, по настоящему любить только раз. Не знаю, будешь ли ты счастлива с ним. Но я, наверняка, буду несчастлив без тебя. Каждый пустяк, который мы помним вместе, всегда разделен на две половинки и... не важно. Пойдем.

– Умеешь ты делать больно.

Он глубоко выдохнул и поднялся.

– Сережа, прости! Я знаю, я гадкая, говорю не то, что чувствую, и мучаю тебя! – Она прильнула к нему. – Но давай еще подождем. Тебя же обещали перевести, квартиру...

– Перстенок от него? – Сергей иронично кивнул на изящный золотой перстень с бриллиантом на безымянном пальце девушки.

– На день рождения. – Она предательски покраснела. Ладонь соскользнула с его груди.

Затем они уехали к знакомым Сергея рыбачить. Договаривались о рыбалке еще до его отпуска. И это бегство от себя показалась Ксении избавлением от раздвоения в душе, иллюзией окончательно принятого решения.

Деревенька укрылась в лесах на окраине Московской области. Гостевой домик у озера подготовили специально для «молодоженов», как называл Сергея и Ксению Плеснин, хозяин, бородатый отставник, с густыми, как у филина, бровями. Когда—то он был зам командира воинской части, где служил Красновский.

На рассвете Плеснин в телогрейке и высоких сапогах отвозил Сергея за острова мимо домиков бобров. От воды курился парок, и на километры в деревенской тишине кукарекали петухи и заходились лаем собаки. Сергей в бушлате, съевшись от утренней прохлады, казался на корме огромным и без головы. Когда на обратном пути он победно поднимал из лодки трофеи, Ксения улыбалась и махала с берега.

Ксения спала долго. Затем помогала готовить обед жене Плеснина, Марине, улыбчивой, молчаливой женщине за сорок с тонким, породистым лицом и ахматовской горбинкой на носу. Находила занятия по хозяйству. По привычке детства в деревне ей было совестно бездельничать. Разок сплавала с мужчинами. Но в рыбалке она ничего не понимала и больше не просилась высиживать часы у холодной и мутной воды.

Вечерами на берегу, Сергей обнимал Ксюшу за плечи и грудь, газетой отгонял от нее комаров и подставлял им свою спину и шею. Перед сном он шептал ей что—то ласковое или смешное, она прижималась к нему и дремала. Ощущала прикосновение его губ за ухом и терлась щекой о подбородок.

Ксения представляла в другой жизни приказы, стрельбу, сборище грубых мужчин, и ей становилось жаль Сережку. Он наслаждался отдыхом. Ксения пыталась убедить себя, что счастлива. Но ее коробил шумный Плеснин в заношенной бейсболке и в брюках с вислыми коленками, по—отечески покровительственный с Ксенией, его покорная жена, черный хозяйский пятистенки, – старший сын Плесниных жил с семьей в их городской трехкомнатной квартире, – бытовые и гигиенические неудобства, – туалет и душевая кабина были во дворе, – ложки—поварешки споласкиваемые в тазу, досужие разговоры соседей приезжих—горожан о саженцах и видах на урожай. Все это казалось Ксении фальшивым и пошлым. То, что для Сергея было праздником, она могла получить в любой день. Ксения, наконец, призналась себе: дилеммы между ее нынешней жизнью и будущей жизнью с Сергеем нет. Она не уедет из Москвы. Она, как родные, всего лишь привыкла думать, что они с Сергеем должны быть вместе. Но почему эта мысль незыблема?

Той же ночью ей приснилось, что Сергей уехал, они чужие, и нет праздного уединения в деревне, а есть скучная жизнь, в которой не будет даже Бориса. Ксения напуганная лежала в темноте. Сергей тихонько похрапывал. Ксения вспомнила Хмельницкого впервые за эти дни, и обрадовалась мысли о нем. Но на сердце стало тяжело, словно ее уличили в воровстве.

– Марина, вам не скучно здесь? Зимой в деревне, наверное, безлюдно. Сережа говорил, вы из Петербурга? – спросила как—то Ксения, пока мужчины рыбачили.

– Привыкла. Леше здесь нравиться. У детей свои семьи. Леша еще на войне говорил, что после армии поедет в деревню. Дальше от шума и толчеи. И Москва рядом.

Марина улыбнулась. Она была в неизменной косынке с цветочками и в переднике. Но даже в этом наряде Ксения не могла представить ее деревенской бабой.

– А в Петербурге, наверное, остались друзья?

– У мужа друзья по всей стране. Кто—то еще служит. Кто—то уволился.

– Нет, я говорю лично о ваших друзьях.

Марина подумала.

– Почти тридцать лет прошло. У всех свое. Переписываемся. – Она покосилась на девушку. – Ксюша, если любишь, не сомневайся. Сережа отличный парень. Хороший офицер. Правда, для армии он немного, – женщина подумала, подбирая слова, – мечтатель, что ли. Роди от него. А лишнее отшелушиться.

Ксения промолчала. А вечером спросила Сергея:

– Когда мы поедem домой?

– Тебе здесь не нравится?

– Нравится, – выдохнула она, и, ежась от холода, пошла от воды.

На следующий день они уехали.

Дома время, словно, остановилось на их последнем разговоре. Сергей и родители раздражали Ксению.

– Боря весь телефон оборвал. Звонил каждый день, – сказала вечером мама. – Ты бы хоть мобильный в деревню взяла.

– Он, что не знает, что я с Сергеем? – мрачно спросила Ксения.

– Тогда не морочь ему голову...

И ее прорвало.

На выходные родители уехали в деревню на «дачу». «Дети» жили вместе почти открыто, когда одна из квартир пустовала. Но этот странный гибрид семьи Красновские и Каретниковы деликатно замалчивали.

Сергей прибежал из города с какими—то свертками, раскрасневшийся и веселый. В рубашке с короткими рукавами и в джинсах. Первый день в мае было по—летнему жарко.

– Смотри, что я тебе купил! – Красновский побросал свертки на диван в ее комнате и принялся распаковывать один.

– Сережа, ничего не надо.

– Что не надо? Ты посмотри! – Он любовно растянул какое—то веселенькое платице.

– Ничего не надо! Ни этого! Ничего!

– У тебя плохое настроение? Хорошо, я зайду позже.

– Не надо! Ни позже, никогда! Ну, почему, почему я должна прожить твою жизнь, а не свою! Ради чего я должна оставить все? Ради этого? – Ксения уронила, протянутую ей тряпку. – Ради деревни со стариками, которые не нужны даже собственным детям! Неужели ты не понимаешь: детство давно кончилось, и мы живем, каждый своей жизнью. Ты хороший! Ты лучше всех! Ты лучший мой друг. Но большего мне от тебя не надо!

Сергей побледнел. Ксения по привычке, когда ей было страшно, хотела обнять его, но остановилась на пол шаге и закрыла лицо руками.

– Прости меня. Не приходи. Хотя бы пока. У меня все внутри разрывается от боли.

Ночь она проплакала. А утром Сергей зашел проститься. В летнем, легкомысленном костюме.

– Из части звонили. Вызывают, – соврал он.

– Сережа, все, что я наговорила неправда. Не слушай меня.

– Я и не слушаю, Ксюх. Может, действительно, все еще раз хорошенько обдумать?

Но слова ему давались так же трудно, как и ей. Они обнялись. Ксения вышла проводить Сергея к такси. В коридоре встретила с Красновским. Тетя Маша была растеряна. Дядя Жора отводил взгляд.

Борис позвонил тем же вечером. Не на мобильник, словно боясь очередного отказа сети, а на городской телефон.

– Нет, Ксюш, я не приду к вам, – сказал он.

– Сережа уехал, – голос ее дрогнул от волнения.

Хмельницкий помолчал в трубку. Казалось, оба почувствовали облегчение.

– Все равно. Там твои родители. Там его родители.

Она спустилась к нему во двор.

Боря курил, сгорбившись, на скамейке у своего автомобиля. На фоне заката чернел силуэт парня. Заметив Ксению, Хмельницкий отбросил окурки и встал. Его лицо казалось затуманенным ало—черной краской.

Затем, он уткнулся лицом в ее колени и беззвучно плакал.

– Все что хочешь, Ксюша! Все, что хочешь! Я не могу без тебя. Я это понял, когда вы уехали... – бормотал он сдавленным от отчаяния фальцетом.

– Боря, тут люди. Я его жена, – праздно увещевала она, зная про себя, что когда—нибудь сможет сослаться на то, что говорила ему правду, отговаривала.

– Ну и что. Мне все равно, – лепетал он.

Ее колени намокли от его слез. Ксения осторожно гладила Бориса по голове и улыбалась. Это ощущение власти над мужчиной было приятно. Вчера самоуверенный и нахальный, сегодня он вздрагивал у ее коленей от страха ее потерять.

Она еще ничего не ответила Борису. Ничего не рассказывала родителям о их отношениях. Хмельницкий дарил ей украшения, одежду, знакомил с друзьями, водил на презентации, словно хотел грудой безделиц отгородить ее память от Красновского, а себя от того, что пережил у скамейки.

Ксения хватилась лишь после первой задержки. Это был ребенок Сергея! Она знала точно. Первой мыслью Ксении было сообщить Сергею. Затем, рассказать Борису, чтобы, как говорила мама, «не морочить ему голову». Но что изменит ребенок в ее отношениях с Сергеем? В его отношении к ней, возможно, многое! А для нее будут те же гарнизоны, то же бесцветное существование. Лишь прибавятся бытовые тяготы и хлопоты, сотни раз представленные и с ужасом отринутые воображением. Аборт? Но если бы Сергей был с ней, осмелилась ли она убить его ребенка. Убить своего ребенка! Никогда! Значит, и думать об этом нечего!

И пока она лживо рассуждала и прикрывала совесть мнимой правдой, подленькая мысль уже устроилась на задниках ее сознания и Ксения до поры оберегала совесть от нехитрого расчета: Боре не обязательно знать все, а Сережа как—нибудь утешиться. Главное, сейчас меньше думать, жить, как все, сегодняшним днем, и осторожно заглядывать в будущее.

Позже, когда Ксения сказала Боре, что беременна, она не могла прочесть по его лицу, поверил ли он в свое отцовство или принял известие, как обязательства, которое он дал в день отъезда соперника. Лишь его мать при знакомстве с невесткой обронила сыну:

– Но ведь вы, кажется, недавно встречаетесь. Впрочем, тебе виднее...

Месяца через два от Сергея пришло письмо. Он молчал о размолвке, но выписал ей стихотворение Гумилева «Ты помнишь дворец великанов». Ксения запомнила последние четыре строчки: «И мы до сих пор не забыли, Хотя нам и дано забывать, То время, когда мы любили, Когда мы умели летать». Тогда ей показалось это неумным иносказанием, мальчишеством.

Сейчас же ей мерещился зловещий намек на вероятную на войне параллель с судьбой любимого Сергеем поэта. Ее испугала мысль о желанном Сережей исходе. «Нет, нет! Это глупо. Он сильный!» Но сердце защемило: теперь никто не опровергнет и не подтвердит ее догадку.

...На пустынной аллее ветер наморщил большую светлую лужу, превратив отраженные в ней тонкие прутья куста в неразборчивые черные зигзаги, рванул полы плаща и забрался за воротник. Ксения поежилась. Серая дворняга села перед девушкой, вопросительно повернула голову и повела ухом. Ветер стих и тут же снова зашевелил листву. Ксения осторожно потянула руку к черной собачьей морде. Умный зверь ткнул мокрым носом в ладонь и фыркнул: не существовало причины, по которой несчастье человека должно лишить собаку надежды получить от него еду. Ксения поискала в сумке и нашла бутерброд с сыром: мать неизменно заворачивала ей перекусить с собой в школу, в институт, на работу. Собака жадно съела бутерброд, подправляя рассыпавшиеся крошки резкими боковыми движениями к краю пасти, обнюхала асфальт, подождала добавку и ушла, даже не вильнув хвостом.

Ксения ясно увидела: это давно не ее жизнь. Чтобы жить, сохраняя рассудок, последний год она гнала от себя воспоминания о Сережке, – потому, что память о юношеской любви угрожала миру ее души, потому, что ее совесть и, следовательно, ее сознание не в состоянии были примириться с предательством! А одно предательство неизбежно тянет за собой другое. Теперь в ней жил его ребенок. Память о человеке, которого она предала. И продолжала предавать. Судьба – это люди. Другие люди – другая судьба. Даже прохожие в толпе. Их много, на них не обращаешь внимания, они прямо не влияют на твою жизнь. Но каждый взгляд, жест, слово имеют значение...

Девушка поднялась и пошла.

За парком с черным прудиком, над желтыми и багряными верхушками деревьев весело поблескивал золоченый крестик «их» с Сережкой церквушки, теперь с позолоченными, а не как когда—то с голубенькими маковками. Предчувствие светлой радости, которая всегда навещала Ксению здесь, затуманило ощущение родственное дрожащему росчерку плохих стихов, которые знаешь, что читал, и не можешь ни повторить, ни забыть совсем.

В памяти проступила прогулка с Борисом. Ксении тогда безумно захотелось того же светлого покоя на сердце, как с Сережкой в «их храме». Она на миг поверила: сейчас ей станет легко и просто с Борей, как было легко и просто с Сережкой.

Ксения за локоть потянула Хмельницкого к церкви.

– Ты помолиться, или посмотреть? – спросил он, мягко освобождая руку.

Ксения пожала плечами. Он посмотрел на наручные часы.

– Ну, во—первых, служба, должно быть, заканчивается, сейчас шесть. Это все равно, что прийти на лекцию перед звонком на перемену. А второе, встанем там, праздные, среди молящихся...

Он заговорил, что мышление основано на компромиссе с логикой, о том, что душа – это лишь форма бытия, а не устойчивое состояние, о церковных запахах идолопоклонства и ладана, которые многим теперь заменили кумач и бессмысленные цитаты на транспарантах, и, что радости верующих в Православии заключаются в несоответствии с малыми требованиями личной совести и утешения, которое предлагает кроткое исповедание. Собственно, как в Католицизме, Униатской церкви...

– Ну, если ты хочешь! – Борис оскорбился ее зевком и замедлил шаг.

– Нет, нет, – удержала Ксюша, – зачем мешать людям. Это не Исаакиевский собор...

– Что—что?

– Пустяки.

...Из дверей кафедры важно шагнула на Каретникову лаборантка Верочка с животом восьмимесячной беременности и в просторном свитере и юбке. Ей давно советовали «поберечься» дома. Но дома было скучно, а поздравления со скорой радостью прибавления тех из обитателей института, кто не видел ее с весны, придавали Верочке значительность в собственных глазах. Как ровесница, опережающая Ксению в замужестве на шаг, лаборантка была с ней запанибрата.

За Верочкой с подносом грязных чашек и блюдец шествовал ее муж, усидчивый сорокалетний соискатель Осипов, плешистый, с перхотью на плечах и на сальном воротнике пиджака, мучивший пятый год никому не нужную диссертацию. Верочка проделала физиономический реверанс Ксении: приподняла брови и выпятила нижнюю губу, что обозначало – какие люди! Затем кивнула назад, и показала глазами.

– Тебя Сам спрашивал! Не переживай, у него хорошее настроение.

Ксения поморщилась.

– Совсем из головы вылетело. Заседание кафедры закончилось?

– Да. Даже чай попили. Тебя Вера Андреевна ждет, – в спину Ксении шепнула Верочка.

На кафедре за общим, чайным столом в углу у двери бесплодный «ученый осел» Ермолаев прихлебывал из кружки чай и пытливо вглядывался в лицо своего плодовитого коллеги Гринберга, снисходительно листавшего рецензию Ермолаева на свою книгу. (Ксения мельком заметила заглавие на отложенной в сторону странице.) Безъумный старик Андреев многозначительно вставлял в разговор с сухенькой старушкой Дуве книжную заумь, и сдобривал мнения скучными остротами, понятными лишь этим двум.

Завидев Ксению, «старички» тепло заурчали. Но теперь и радушные старожилы, и деловитые молодые коллеги раздражали Ксению.

Поначалу ее сильно печалили устрашающе скучные лица студентов в миг передачи свечей знаний от Шекспира до Кутзее. Одни осоловело пялились на нее из чахлах садов английской грамматики. Другие в смежных свободных аудиториях по соседству играли в морской бой по мобильным телефонам: проигравший оплачивал баланс обоим. Лишь одна романтическая девица в группе от души совершенствовала инфинитивы, боролась в своем рязанском произношении за смягчение звуков в твердых английских согласных, чтобы, как она приватно призналась Ксении на экзамене, бегло пересказать школьникам «Маленького принца» Марка Твена. Прочие студенты, по наблюдениям Ксении, более добросовестной девицы преуспели по общим предметам в профанации русского образования: путали Ирландию и Исландию, приписывали простодушные комедии купеческих нравов Островского его, закаленному сталью, однофамильцу, слухом не слыхивали о лесковских словоискажениях, Чарльза Диккенса почитали отцом Эмили Дикинсон, и не могли взять в толк, почему Гари Потер не включен в Большую американскую энциклопедию?

Их родители платили за учебу, и дети почитали образование лишь за средство для получения хорошо оплачиваемой должности.

Ксения по возрасту опережала своих учеников всего лет на пять—восемь. Но ей казалось: ее духовная емкость нигде не пересекается с плоскостью, в которой обитает поколение, идущее следом: на добродушную шутку ученики отвечали ядовито, отчужденные, словно «обдолбанные» эльфы, предпочитавшие виртуальный дрейф по электронным страницам Интернета пьянящему запаху типографской краски новой книги.

– Ничего страшного! – адвокатствовал Борис. – Они хотят скорее отбить свои деньги, жить богато и красиво, сейчас, а не завтра. На собеседовании о найме на работу эти спецы метут такую пургу, хоть Задорнову отсылай. Пооботрется, научаться.

Диссертация тоже не вызывала в хребте дрожи счастливой догадки или радости бытия: проверка ссылок, оказавшихся небрежностью или обманом, – сносок из унылого пудового тома на сноски в томе еще пуще унылом и пудовом – скука смертная.

Сегодня жизнь кафедры показалась Ксении скучнее и глупее, чем обычно.

...Мать в кресле у закутка разговаривала с заведующим кафедрой Серебряковым, доверительно, со слащавой улыбочкой, клонившегося к собеседнице через стол. Скрещенные ноги главного ученого кафедры в канадских всесезонных башмаках, две пижонские замшевые заплатки на локтях пиджака, водянистые глаза под веночком седого пуха над ушами, и губы, как жирные слизни неизменно навевали на Ксению уныние.

– А—а—а, а вот и наша невестушка! – Слизни расплзлись, обнажив пару великолепных вставных протезов. Серебряков выпрямился. Ксения поздоровалась. С тех пор, как месяц назад Савелий Валерьянович узнал о замужестве Ксении, он называл ее исключительно «невестушка», и это раздражало девушку. На кафедре Серебрякова недолюбливали, считала карьеристом и мздоимцем. Он обирал студентов, и имел какие—то делишки с проректором по социальным вопросам. Но со студентами вел себя, как свой парень, и провоцировал преподавателей на разговоры о институтских несправедливостях.

Ксения принужденно улыбнулась затертой шутке.

– Вера Андреевна как раз рассказывала о несчастье с вашими соседями, Ксения Александровна. Этот молодой человек, кажется, навещал вас здесь. Такой... – Серебряков набычился, изображая мужество, и энергичным, сверху вниз жестом, дополнил портрет. – Сожалею. Весьма сожалею. – Грустное лицо заведующего тут же просветлело. – Но мы обязательно будем на выездном, так сказать, заседании кафедры! – и захихикал.

Ксения уничтожающе посмотрела на мать.

– Я как раз об этом хотела поговорить с вами, Савелий Валерьянович...

– А? Да, да, конечно, посоветуйтесь. Приятные хлопоты. – Он снова захихикал, словно не расслышал, вскочил: «А у меня делишки!» – и убежал.

– Что ты тут делаешь, мама?

– Во—первых, кафедра, – Вера Андреевна встала и машинально пробежала пальцами по янтарным бусам на груди. Вязаное шерстяное платье неудачно подчеркивало «галифе» на бедрах и небольшую выпуклость живота. – Отец рассказал о утреннем разговоре. Что вы нехорошо расстались с Борей! Пересядем ко мне.

В другом закутке, где раньше хранились швабры и ведро для мусора, Ксения повесила на плечики в шкаф плащ и присела за низкий дубовый столик, который где—то выхитрила мать. Угол предоставили Вере Андреевне в исключительное пользование.

– А зачем ему рассказала? – Ксения кивнула на давно истаявший след заведующего.

– Чтобы для людей не было неожиданностью, когда ты их прогонишь...

– Так ты принимаешь меры? – едко спросила Ксения.

– Пожалуйста, не дерзи. – Взгляд матери стал колючим – прямо злая, постаревшая Ксения. – Тетя Маша просила передать, чтобы ты не дурила. Мы все хотели, чтобы вы с Сережей поженились. Ты решила по—своему. И нечего назначать всех негодяями, а себя...

– Хватит! – Девушка упрямо сжала губы. На ее виске запульсировала жилка, глаза покраснели. – Не повторяй пошлости! Ты прекрасно знаешь, что я не люблю Бориса. Не люблю так, как любила Сережу, – поправила она себя.

– Раньше надо было думать!

Из глаз Ксении закапали крупные слезы. Девушка отвернулась, чтобы не видели преподаватели. Вера Андреевна спохватилась.

– Послушай, доченька! – наклонилась она к девушке. – Это эмоции. В твоем положении так бывает. Ты ведь понимаешь: тянуть дальше нельзя. Неприлично. А любовь... Я всю жизнь люблю твоего отца. Любовь это счастье, но это и бремя. Я ни о чем не жалею, но мне иногда кажется, что можно было прожить иначе...

Женщины переглянулись. Верно, мать намекала на забавное семейное предание, как студентом отец отбил ее у старшекурсника, нынешнего главы департамента каких—то там ресурсов Москвы.

– Мама, мне не до глупостей сейчас! Если бог есть... – прошептала она.

– О, господи! Ксюша, не время сейчас об этом! – Вера Андреевна покосилась, не слышит ли кто—нибудь тихую истерику дочери.

– Если Он есть, Он не простит мне этой лжи. Не простит мне гибели Сережи!

– Да может, это единственный оставленный тебе выбор?

– Мама, какой выбор! А, если бы это я, папа, или... ты. А за стеной пляшут. Господи, что я болтаю!

Ксения закрыла глаза и выдохнула:

– Это ребенок Сергея. Я не смогу, когда за стеной лежит его отец!

Вера Андреевна недоверчиво смотрела на дочь, ожидая, что та признается в злой шутке. Наконец, лицо ее вытянулось и посерело.

– Как же ты скажешь Боре? – пробормотала она.

Мысли ее смешались. Но одно она понимала ясно: произошла катастрофа, и выхода нет. Расскажи дочь все Борису, и она останется одна с ребенком. Жизнь ее сделает зигзаг, который Ксении вряд ли удастся выпрямить. А когда ложь откроется – после замужества и родов – неизбежно! – Хмельницкие не простят Каретниковым подлости, а Красновские – надругательства над памятью их сына и многолетней дружбой. Прочие будут посмеиваться Каретниковым в спину. Она представила ситуацию глазами дочери, и поискала в сумочке валидол.

– Послушай, но ведь он знал, что ты была с Сергеем, – быстрым полусшепотом заговорила Вера Андреевна. – В конце концов, ты сама могла не знать, чей ребенок? Боже мой, боже мой! Какая чушь! – Она закусила губу и отвернулась, чтобы не заплакать.

– Мам, надо все отменить, – спокойно проговорила Ксения.

– Да, да, надо, – убитым голосом сказала мать.

Мимо них к вещевому шкафу прошелестела старушка Дуве в зеленом платье и в туфлях с кожаными пряжками («сидите, сидите, Ксюша!»). Она улыбнулась девушке из—под темных бровей. За ней пытел Андреев в подтяжках на толстом животе и, гнусавил свое затертое определение заведующему: «у него, может, целая гора научных достижений, но состоит эта гора из плоскостей...». Верочка и ее муж, громыхая, переставили мытые чашки с подноса в буфет, Верочка по диагонали комнаты перекатилась к Каретниковым и заговорщицки шепнула: «А какой мы вам подарок приготовили!»

– Что же мы им скажем? – Вера Андреевна растерянно посмотрела на дочь.

– Не обязательно им все объяснять, – проговорила Ксения.

– Тогда надо все рассказать Боре. Он то, чем перед нами виноват?

Вера Андреевна долго натягивала кожаное пальто, ладонью опираясь подкладку на плеч, и долго завязывала бантом розовый шарфик.

– Пойдем, доча! – Она подождала и повторила: – Пойдем!

Ксения послушно поднялась, взяла в охапку плащ и вышла, не простившись.

На следующий день Борис появился у Каретниковых лишь раз: привез из гостиницы Ломовых: тетю Лиду с мужем. Он даже не поднялся в квартиру. Спешил.

Жизнерадостный Ломов то и дело заходил с смехом. На него шикали. Он делал страшные глаза, картинно прикрывал рот, и потом опять смеялся. Бабушка, совсем старенькая, сидела у внучки, чтобы не мешать.

Каретниковы отмалчивались. Их траурное настроение родственники объясняли несчастьем соседей. Александр Николаевич избегал дочери, а, сойдясь с ней, отводил взгляд. Ксения поняла: мать ему рассказала, и он тоже не знает, как быть.

Из ателье привезли свадебное платье. Ксения отказывалась примерять, ее уговорили, и она была в нем очень мила. Родственники смотрели на девушку с молчаливым обожанием. Домашние – с грустью, и у Ксении было ощущение, что она надела краденую вещь.

Ломовы уехали к знакомым и обещали вернуться за бабушкой. Ксения безвольно сидела перед открытым гардеробом. Мать в гостиной на швейной машинке прострачивала свой праздничный наряд. Отец переливал на кухне в пол—литровые бутылки коньячный спирт. Но все это делалось так, словно, сейчас войдет распорядитель и все отменит.

В общем коридоре забасили голоса, шаги, гулкие на пустой лестнице, зачастили, как если бы несколько человек толкались в узком переходе с чем—то громоздким и тяжелым. Ксе-

ния насторожилась. Мать прошелестела к двери и охнула. Громыхнули бутылки – отец второпях споткнулся о ящик – и его шаги оборвались в коридоре.

Ксения накинула черную шаль и отправилась к соседям.

На столе, накрытом до пола красным драпом, высился прямоугольный металлический ящик, огромный, страшный. Вцепившись в гроб, у изголовья скорчилась тетя Маша. Она жалобно причитала. Марина, сутулая, уткнула рот в сомкнутые кулаки. Вера Андреевна сморкалась в скомканный носовой платок. Четверо солдат переминались и поглядывали на гражданских.

Вошли дядя Жора в дождевике и тапочках, Володя в пальто с грязными брызгами на рукавах и офицер в плаще. Володя повел солдат на кухню. Дядя Жора ободряюще кивнул Ксении, серый с дороги, утомленный.

Офицер, скуластый, рыжий коротышка лет тридцати, с рыжей щетиной на подбородке и с ноздрями «мертвой головой» внимательно посмотрел на Ксению. На его лбу краснела полоса от фуражки. Сапоги и полы плаща были окроплены грязью.

Дома Вера Андреевна переделалась в черное и вернулась к соседям прибраться. Ксения надела черную юбку и шаль. Из зеркала на нее смотрели больные глаза. Боль притаилась в глубине зрачков и, чудилось, до времени копила силу.

В отражении Ксения увидела бабушку, и, только сейчас, словно, вспомнила о ней. Александра Даниловна зябко ежилась в вязанной шерстяной кофте в уголке дивана. Ее пегие волосы, стриженные старомодным каре, были схвачены невидимкой возле уха. Ксении захотелось, как в детстве, приласкаться к бабашке, рассказывая на ночь все страхи и дневные беды, чтобы завтра забыть о них.

– Что же ты все молчишь, бабушка? – Ксения обняла ее, и прижалась щекой к ее худенькому плечу.

– Что же тут говорить? – Голос Александры Даниловны звучал глухо от долгого молчания. – Сережу жалко. – Она вздохнула. – Тебя жалко...

Ксения уткнулась лицом в плечо бабушки. Как в детстве ей казалось: они оба знают Ксюшин стыдный секрет, и бабушка ждет, когда внучка сама расскажет. Но Ксюше не хватало мужества признаться, что сначала она лишь разрешала Боре себя любить. В отместку Сереже за свою трусость жить с любимым. Потом хотела выйти замуж за Хмельницкого, потому что для нее, дочери простого служащего и преподавателя, он выгодный жених. А теперь все запуталось, и выхода нет!

– Наверное, все старики считают, что жизнь переменялось к худшему, а их молодость – самая замечательная пора. Помнишь, я рассказывала тебе про послевоенный голод? Мы, дети, в деревне объели всю съедобную траву. Есть хотелось всегда. Войны я не видела. Поэтому ничего страшнее голода, не помню. Даже сейчас Лида подшучивает, что я все запасая впрок: сахар, крупу, спички. – Бабушка хмыкнула. – Но даже тогда у нас была радость. Ожидание хорошего. Мы были счастливы. Все делали от сердца. Твои родители тоже жили просто. От зарплаты до зарплаты. Работали и любили. Кто умел, наживал. А сейчас люди много рассчитывают и приспособливаются. Может это хорошо, если приносит счастье. Я таких не видела. В старости, помимо самой старости, самое мучительное, что уже не можешь исправить причиненное другим зло.

– Ты знаешь о ребенке? – осторожно спросила Ксения и неохотно отстранилась.

– Да. Вера сказала. – Они помолчали. – Я помню Бору в детстве. Он навещал отца и казался напуганным и тихим. Сидел на табуреточке на кухне, слушал Димкины пьяные нравоучения. А потом уходил. Жалкий, несчастный. Сережка был задиристей и прямее. Весь на виду.

– Боря переменялся.

– Да. В нем появился внешний лоск. Но это напускное. Возможно, в ваше время говорить о любви не принято. Но Боря любит тебя. Я видела, как он на тебя смотрит. Сбереги свою любовь к Сереже. И сбереги любовь Бори к тебе.

Они помолчали. Ксения сидела, сторбившись, сложив на коленях ладони.

– Ты считаешь, ему надо все рассказать?

Бабушка пожала плечами.

– Если ты жалеешь о его деньгах, как хочешь. А, если расскажешь правду, узнаешь, как он к тебе относится. Либо останется с тобой, с такой, какая ты есть...

Бабушка помолчала.

– Либо? – полушепотом спросила Ксения, страшась ответа.

– Либо твои родители и родители Сережи помогут тебе вырастить ребеночка. Это лучше, чем начинать жизнь со лжи.

К Каретниковым постучали. Вошел дядя Жора, умытый, с мокрым зачесом и в свитере. Бабушка отправилась в большую комнату.

В порозовевшем лице соседа неуловимо проступали черты сына. И это тоже причиняло Ксении боль. С дядей Жорой пришел офицер. Уже в кителе и шлепанцах.

– Ксюша, товарищ капитан хочет с тобой поговорить, – сказал Красновский. – Это Толя. Близкий друг Сереженьки. – Девушка кивнула и потупилась, в горле запершило: с детства Сергей запретил родителям сюсюкать и называть себя Сереженька; теперь отец не скрывал нежность. – Толя нам очень помог. Сопровождал. Теперь вот в отпуск...

Красновский помялся и вышел. Каретников, поняв, что это к дочери, вернулся на кухню.

В комнате Ксения вежливо усадила офицера на диван, сама выбрала стул.

Военный опустился на край, словно стеснялся занимать больше пространства, и облокотился о колени.

– Я вас сразу узнал, – проговорил офицер сипло. – Простите, сквозняки, простыл. Как в отпуск, всегда... – На полуслове он достал из внутреннего кармана бумажник, из бумажника – фотоснимок, и подал Ксении. На снимке была она еще на первом курсе. Ее кто-то окликнул, и она обернулась. Эта фотография нравилась Сереже.

– И вот это. – Офицер протянул три поздравительные открытки и два потрепанных конверта: письма Ксении.

Она поблагодарила и тихо спросила:

– Как это было?

Капитан зыркнул исподлобья.

– Не бойтесь, я не упаду в обморок.

– Я уже рассказывал отцу Сережи... – Неохотно проговорил капитан. Неоднократно повторенный рассказ превращался в быль и жил самостоятельно, а его друг...

Вспоминая, военный то и дело спотыкался о профессионализмы. Ксения многое не понимала. Она видела оружие лишь по телевизору. Мирные черноморские горы с веселыми отпускниками высились далеко в детстве, в стороне от мифических склонов из кинохроники о бородатых басмачах. Колонна, обстрел. Ксения живо представила лишь, как вспыхнула головная цистерна, потому что видела такой фильм с Куравлевым. Только там Пашка Пирамидон отогнал пустой бензовоз и сломал ногу. А здесь погиб водитель машины, Сережка его заменил и не успел спрыгнуть...

– А зачем он отогнал машину? – осторожно спросила девушка.

– Иначе нас бы там всех положили. Проход узкий, наливник не спихнуть...

– Больше некому было?

– Серега был ближе всех.

– А вы?

– Я замыкал колонну. Не было времени рассуждать.

– А вы? Что вы там все делали на этой дороге? Что вам было там надо?

Офицер тяжело вздохнул. Он смотрел за плечо девушки.

– Не знаю. Только, если б не Сережа, мы бы не разговаривали.

– Лучше бы не разговаривали! Простите! – Ксения уткнулась подбородком в грудь. – Отсюда все это ужасно. Непонятно. – Она вскинула голову. – Но зачем, зачем он туда поехал? Зачем туда вообще надо ехать? Ведь он был такой... такой честный, он так любил людей. Неужели нельзя никого не убивать. В чем смысл вашей войны? В каждой жизни и смерти должен быть смысл. Какой смысл в его смерти?

Рыжий покосился на девушку: не в себе, что ли? И снова посмотрел за ее плечо.

– Серега был настоящим офицером, выполнял приказ, берег своих и его любили. Правда, – рыжий хмыкнул, – любил порассуждать. Говорил: если бы наших предков подмяли, тогда бы нам нечего было жабры раздувать. А теперь надо защищать то, что создавали другие. Вот и все. А отсюда, возможно, виднее! – Офицер покривил губы.

Тут Ксению обдало жаром. Она вспомнила: за ее спиной в прозрачном целлофановом чехле висело свадебное платье. Девушка покраснела и потупилась, так, словно сидела в этом платье и рыжий обо всем догадался. В словах офицера теперь ей чудилась ирония и укор.

– Из последнего отпуска он вернулся... странный. Говорил, в части ему спокойнее, чем дома. Здесь он рассчитывает на себя и на тех, кто рядом. А дома все чужое. Так бывает после отпуска. С таким настроением лучше на рожон не лезть. – Рыжий помолчал. – Он вас любил.

Девушка прижала подбородок к кулакам и сказала сдавленным голосом:

– Там это важно?

– Наверное. У меня только мама. Думаешь, прежде чем без нужды башку подставлять.

Когда офицер ушел, Ксения все пыталась представить последний миг Сережки, взрыв, пламя. Потом снова ходила к Красновским. К гробу уже положили букет. У изголовья из черной рамки улыбался Сережка в парадном мундире. На красных подушечках лежали два ордена и медали. На снимке Сережка казался Ксении значительным и мужественным. А в уголках его глаз затаенная грусть, словно он спрашивал ее: как ты без меня?

«Дрянь! Дрянь! Из—за меня...» Но где—то среди неразберихи чувств чугунела странная мысль: смерть на этой войне нелепа, как гибель под троллейбусом, несчастный случай. Она, домашние, те, кто управляют ими, все они совершили чудовищную ошибку, за которую поплатился лишь Сережка. А других это война не касается. Сережка талантливый, хороший, любимый – убит! Ребенок – это лучшее, что Сергей успел за короткую жизнь. И кто Ксения, чтобы самовластно отнять у их малыша память об отце!

Ксения очнулась на пустынной сырой улице у подъезда – лицо было мокрым то ли от липкой измороси, то ли от слез – и повернула домой.

На кухне Борис ел борщ, и, закатав рукава, с занесенной ложкой, – Ксения увидела жениха через отражение в зеркале – в хорошем настроении умничал:

– Нет, нет, Сан Николаич, люди создали цивилизацию от скуки и от лени. Им надоело в пещере рассуждать о вечном и неразрешимом, и они придумали бога, карты и казино. Надоело гоняться за мамонтами пешкодралом и они оседлали лошадей и изобрели двигатель внутреннего сгорания...

Мать мыла посуду. Отец гремел бутылками на балконе.

– Ленчик придет к половине завязывать ленты на машинах. Остальные – сразу в загс, чтобы не мелькать перед Красновскими! – с набитым ртом ответил Борис на реплику тестя. Он промокнул салфеткой подбородок, блестящий от жира.

– А как же коньячный спирт? – вяло пробасил отец.

– Саня, всего хватает. Кто его будет пить?

– Ленчик заберет! – примирил родню Борис.

Вера Андреевна увидела дочь и отвела взгляд. В дверях отец искал, чем вытереть растопыренные, испачканные пальцы. Борис быстро прожевал и заулыбался, готовясь, что—то сказать невесте. Ксения ощутила себя, словно, в бесконечном лабиринте, где выход из мрачной паутины коридоров становится входом, и все повторяется. Она внутренне съежилась, будто перед нырком в прорубь.

— Боря, мне надо тебе что—то сказать! Пойдем ко мне в комнату!

Мать загремела посудой. Отец скрылся на балконе. Борис обсосал кость, промокнул рот и смял в тарелке бумажную салфетку.

— Опять двадцать пять! — проворчал он, и, неохотно отправился за невестой.

...Он слушал Ксению, и сытое выражение на его лицо сменила бледность. Рот перекосила кривая ухмылка. Хмельницкий, сгорбившись, присел в кресло. Он был оглушен. И чем дольше слушал, тем меньше понимал, что говорит Ксения. Наконец, он поморщился, словно от боли, и постарался вникнуть в слова:

— ...Потому я не могу не быть с ним. — Ксения помолчала. — Мы, наверное, уже не увидимся. И я не имею права тебе говорить что—либо, после всего, что произошло. Но ты должен знать. Ты не мог, хотя бы не задумываться об этом! Ты ведь знал, что я его жена. Там, у скамейки сказал, что тебе все равно. Но тебе не все равно. И каждый день ты покупал меня, чтобы свести с ним счеты. Чтобы поломать все, что у нас с Сережей еще было. Доказать себе и мне, что за деньги можно купить все. И купил меня. Может быть, ты даже взял бы меня такой, какая я есть, зная, что я дрянь, и выхожу за тебя из—за денег. А, узнав правду, мстил бы мне за свое великодушие, за свое унижение, за то, за что оплатил. Но так мне не нужно...

— А как тебе нужно?

Ксения села на диван и уткнула подбородок в кулаки.

— Откуда ты знаешь, что я делал бы? — с грустной иронией спросил Борис и внимательно посмотрел на девушку. — Откуда в тебе это? Ведь я тебя люблю. И знаю, гадости, о которых ты говоришь, ты никогда бы не сделала. Думать и делать, не одно и то же.

Он помолчал.

— Родители знают?

— Да. Я утром им рассказала...

Борис кивнул. Первым его порывом было уйти. Но завтрашний день со всей его чехардой, которую все равно кому—то придется растаскивать, толкался в воображении. Машины, гости, наряды, видео, продукты, вино. Столько сил положено! Борис мстительно хватался за обидные ответы на несправедливые упреки. И тут увидел себя глазами Ксении. Он признался себе: она права. Он ненавидел Красновского и как любой мужчина отвоевывал любимую женщину у соперника. Но теперь считаться не с кем. Решается их с Ксюшей жизнь:

— То, как ты поступаешь, еще большее зло, чем — то, в котором ты меня винишь! — проговорил Хмельницкий. — Возможно, меня не за что любить и уважать. Но разве я совершил низость и бросил в беде любимого человека? Ты покалась перед ним, передо мной, признала сделанное тобой зло. И все? А мне, твоим родителям, моей маме, моим друзьям остается расхлебывать все это. Не слишком ли просто? Твой... парень лежит там, в гробу, — Борис ткнул пальцем на стену. — И те, кто придут завтра, поймут, что играть свадьбу под носом у его родителей кощунство. А те, кто не поймут, черт с ними! Но никто не поймет, за что ты обо всех вытерла ноги, спекулируя памятью Сергея.

— Что ты предлагаешь?

— Не знаю.

Борис тяжело вздохнул.

— Скажи, ты меня хоть немного любишь? — Он боялся смотреть в ее глаза. — Ведь было у нас что—то хорошее!

Ксения потупилась.

– Да, люблю! – выдохнула она. – Но иначе поступить не могу. Это его ребенок.

Хмельницкий медленно раскатал рукава рубашки и поднялся.

– Давай сегодня ничего решать не будем, – проговорил он. – У нас еще есть время.

На кухне Каретников капал жене и себе корвалол.

Хмельницкий в прихожей надел туфли.

– Боря, погоди—ка! – негромко позвал Александр Николаевич. Он встал в кухонном проеме боком к Борису и виновато смотрел ему в ноги. – Ты прости нас. Мы завтра, как—нибудь уладим. В загсе и вообще. Так что не беспокойся.

Вера Андреевна, заплаканная, не вставая с табуретки, выглянула из—за мужа. Она согласно закивала и высморкалась в салфетку.

– Что же вы со мной так—то, Сан Николаевич? Как с посторонним.

Тот пожал плечами.

– А ты прости нас! Прости! Прости меня. Не угодить всем боялся. Дочке не угодить. Тебе. Ты думал, мне бы ее поскорее и выгодней замуж выдать? Она еще жизнью не тертая. Какой с нее спрос? А ты, молодой мужик. У тебя душа еще нарасташку должна быть. А ты одно: сколько стоит, да ка бы чего не вышло! Об колено ее ломал, когда она еще в себе не разобралась. За такое морду бьют. Серега был честнее нас. Если бы он был жив, этого бы не было!

– Что ты говоришь, Саша? – всхлипнула жена.

Каретников опомнился и с папиросой ушел на балкон. Борис растерянно кивнул и вышел.

Он спустился к машине. Мимо желтых, мигающих светофоров выехал в черный пригород. А затем долго катил по улочке, уложенной бетонными плитами и бесконечной в ночи, и рыжие круги света от уличных фонарей на дороге, казалось, кружились вокруг машины. Очнулся он лишь у дома с черепичной крышей и за высоким забором, между такими же заборами и крышами. Борис обнял руль и уперся лбом в руки.

Сергей и Ксения! Хмельницкий застонал от бешенств. Даже когда она уехала с ним на озеро, он готов был ей простить все. Холодным разумом понимал: его любовь от ревности, уговаривал себя забыть эту «высокомерную, продажную тварь!» Но, чем злее оскорблял девушку, тем сильнее любил ее и ненавидел Красновского. Его спокойную манеру слушать и говорить, его домашнюю футболку у нее дома, его босые пятки...

«Офицерик» не водил ее на закрытые вечеринки, не знакомил с интересными людьми, не дарил ей то, что дарил ей Хмельницкий. Он лишь поманил ее в глухомань. И она поехала...

Теперь же, за те несколько месяцев, что Хмельницкий и Ксения были вместе, Борис привык думать, что она его жена. Его собственность! Он отвоевал ее! Имел на нее право!

Хмельницкий представил плод в утробе Ксении. Ребенка от другого мужчины. И брезгливо покривил губы. Он вообразил кривые ухмылки знакомых на этот водевильчик, и его перевернуло. Пока не поздно надо обзвонить своих гостей и отменить! А когда все узнают правду, то одобряют: он не позволил сделать из себя дурака!

Но ведь она его отговаривала! Не умела, не знала, как признаться! Но отговаривала! «Так за что же я буду ее бить! Чтобы остаться чистеньким?» Тело отца этого несчастного, еще не рожденного ребенка лежит через стенку, но ни малыш, ни отец, никогда не увидят друг друга. Он представил долгий черный день в душе Ксюши, грустное счастье за двоих ее будущего материнства и заплакал. Таиться было некого. За что он собрался мстить ей? За ее любовь к другому? Тогда, кого любит он: себя или ее?

«Но ведь, если бы Сергей был жив, – подумал Хмельницкий, – ложь бы тянулась до сих пор. И – потом, когда я превратился бы во всеобщее посмешище!» И тут же пришла другая мысль: «Но он мертв. Так почему ее ребенок должен быть менее счастлив, чем другие дети!»

Борис представил через пять, десять лет, когда в нем перегорит боль и унижение, представил жизнь Ксении, его жизнь. У каждого свою. У него, возможно, будет другая семья. И это разумно и оправданно. Но в жизни Ксении он останется воспоминанием. Ничем. Маленькой

сошкой, как в той басне Крылова про лягушку и вола. Послушным клерком, любившим дешевенькие эффекты, и поступившим, как поступил бы любой разумный мужчина на его месте. Он исчезнет из ее жизни.

Пусть так! Надо сделать маленькое усилие над собой. Не рассопливиться! Это ведь даже не малодушие, а здравый смысл...

Допустим, он примет на себя обязанности отцовства за другого. (Хотя может родить своего ребенка с другой женщиной и будет счастлив!) Женятся же на женщинах с детьми, и ничего, живут и воспитывают чужих. Но тут иное. Его хотели обмануть! И если бы рок не распорядился по—своему, подлость бы получилась. И этот, чужой, каждой черточкой лица и фигуры, привычками походил бы на настоящего отца и напоминал о глупости, которую совершил Хмельницкий, поддавшись ложному великодушию. Хорошо, если он привыкнет к этому ребенку! А если возненавидит и будет возвращаться в постылый дом до тех пор, пока все ему не надоест, и он не начнет жизнь сначала, так, как это должно быть у нормальных людей! Без вывертов и надрыва.

Он представил Ксению такой, какой оставил ее сейчас: ссутулившуюся на диване, и подобравшую руки под живот, как подбирает лапки кошка. И сравнение с беззащитным зверьком показалось ему особенно пронзительным.

«Надо выпить».

Пультот Борис открыл железные ворота и включил фигурную подсветку по периметру дома. Ровный, холодный свет заполнил двор, мощный резной каменной плиткой, и пугливые тени попрятались под аккуратно подстриженные кусты.

В гостиной пахло клеем и краской. Борис налил фужер «Хенесси», упал в кожаное кресло, тихонько выдохнувшее под его весом, и сделал два жадных глотка. Затем мысами сковырнул с пяток туфли, и разбросал их по углам.

В голове приятно зашумело. Он выпил еще коньяка.

«Надо всех обзвонить!» – без энтузиазма подумал Хмельницкий. Представил своих «начальничков»: вечно пьяного «старого казачка» Кружилина, помыкавшего людьми, как скотом; его безграмотную дочку—хабалку – эта за папиными деньгами мнила себя воротилой строительства – ее инфантильного мужа с пэтэушным образованием. Вспомнил свой кроличий страх перед ними. Да так явно, что у него похолодели руки. Вспомнил, как фальшиво улыбался до судорог рта шуткам начальства. Свою озабоченную мину, когда те болтали чушь. Как презирал их, а свое презрение скрывал за подобострастьем и услужливостью, и ненавидел свое холуйство. Борис впервые подумал: они обыкновенные люди, живут своей жизнью, и нет им дела ни до него, ни до таких, как он, и так же, как он, они презирают холуйство в подчиненных. А его страх и злость – из зависти!

Ксения сначала беззлобно посмеивалась над его нытьем, потом жалела его, и, наконец, замолчала. Он приучил ее думать о его работе и окружении, как о чем—то значительном, и приучил бояться потерять это.

Теперь все они останутся в его жизни, и он будет из кожи лезть, чтобы угодить им. Останется его новый дом. Со временем вернется душевный комфорт, что приносят деньги. Но в его жизни не будет Ксении!

Он подумал: все, что он делал, якобы, для себя и для Ксении, и за что она должна была быть ему благодарна, как он был благодарен своим благодетелям, он делал даже не для себя и не для нее, а для тех, кто в его представлении, словно со стороны одобрительно поглядывают на его правильную жизнь. И, не скажи ему сегодня Ксения правду, он бы дальше с вежливым равнодушием взирал на горе Красновских, как привык смотреть на людей глазами тех, кого презирал за спесь, и кичливость удачей. Он ни разу не подумал, что горе Красновских, это горе Каретниковых и Ксюши. Им не до торжеств. А он насиловал их волю, словно ничего не случилось! Не случилось для него!

Так чего же стоит его жизнь, если он мучает самых близких, не замечая этого!

– Вот он где! Рефлексирует! – Борис вздрогнул. Он не слышал шаги. – Я же говорил, тетя Наташа, Борька прощается с холостой жизнью. Втихоря.

Это был Леня Завадский, двоюродный брат, и мать. Леня мягко хлопнул младшего брата по плечу. Тремя пальцами за горлышко взял с десертного стола бутылку и прочитал:

– Хенесси. Жируем. Зачем мобилу отключил? Звоним Каретниковым, а они ни сном не духом. Тетя меня в охапку и сюда. Что стряслось? Ксюха взбунтовалась? – В его голосе была досада, что его выдернули из постели, и облегчение, что все обошлось.

– Боря, что за новости! Как так можно? Я с ума схожу...

– Мама, пожалуйста, не стой у меня за спиной!

Хмельницкий видел мать в отражении окна: строгую, будто, она выговаривает ребенку; руки в замок под грудью, как у оперной певицы перед выступлением. Борис не поднялся навстречу матери, как он поднимался обычно, и она укоризненно встала сбоку, чтобы он ее видел. У нее было некрасивое, обветренное лицо «пожизненного мастера участка», как шутил над тетей племянник.

Леня по—хозяйски уселся в кресло спиной к холодному камину, переплел на животе пальцы и скрестил ноги. Это был круглолицый парень за тридцать, с большими залысинами, и без шеи. На нем был костюм в частую полоску. Леня возглавлял небольшую ремонтную фирму, в церковные праздники жертвовал много, и посмеивался с добродушным цинизмом: «А вдруг, пригодиться». Тетя Наташа выбрала племянника в своего рода опекуны Бори и ставила Леню в пример сыну за «целеустремленность».

Когда Завадскому рассказали о Красновском, он его вспомнил: «Ходил в нашу секцию бокса. Удар хороший, но не боксер: жалел соперника».

– Боря, что все это значит? Это твое пьянство, твой вид, этот тон. Второй час ночи. На кого ты будешь завтра похож? – Мать впервые видела сына в таком состоянии.

– Подожди, тетя Наташа. Что стряслось, брат?

Борис с силой потер лицо, словно, хотел немедленно протрезветь.

– Все нелепо, глупо! – пробормотал он. – У Ксении ребенок от Сергея, а не от меня.

Наталья Леонидовна присела в кресло. Миниатюрная, в джинсах и в мохеровой кофте с торчащими шерстинками она напоминала взъерошенную детскую игрушку.

– У нее истерика, – сказал Леня. – Сергей, свадьба, беременность. Наговорила на себя.

Борис скептически покривил губы и отрицательно поводит головой.

– Такими вещами, Леня, накануне свадьбы не шутят.

Черные глаза Натальи Леонидовны повлажнели.

– Ты знал это. Я тебе говорила, что она выходит за тебя из—за денег...

– Знал! Знал, что унижаю их этими побрякушками, – Борис попытался отстегнуть золотую запонку и не смог, – что считаю Каретниковых обязанными мне за то, что беру их дочь от другого...

– Боря, у тебя истерика.

– Дайте ему выговориться, – тихо сказал Завадский, плеснул в фужер минералки и подтолкнул брата под локоть. Боря выпил, и заговорил спокойнее.

– Думал, солдафон, армейская кирза рисуется перед девчонкой. А она, дурочка, не видит настоящей жизни. Попробует – поймет. – Он тяжело поднялся, и, опустив руки в карманы брюк, прошел по комнате, бледный, словно, глядя в себя. – А что поймет? Что талант мы измеряем толщиной котлеты из бабла? Считаю себя новой аристократией, и хапаем, ничего, не давая ни тем, кто нас учил, ни тем, кто для нас рисует, пишет, играет? Наследники хама с бабками! А он был настоящий.

– Боря, не пей. Будет плохо, – попросила мать. Но Борис налил полфужера и выпил.

– Тогда, в парке про Исаакиевский собор она говорила. Я не сразу понял. А это их место. Она специально меня привела. – Он помолчал. – Я мог бы ее притащить в загс. Но, даже, если б не ребенок, она не простила бы мне, что я перешагнул через их любовь. С мертвым не потягаешься.

– Это она должна тебя простить? – На лице Натальи Леонидовны появилось выражение: большее нахальство трудно вообразить!

– Да, она! Прав ее отец: об колено ее хотел, когда она еще в себе не разобралась! А ты мне, мама, какую невесту желаешь? Чтобы в рот мне заглядывала и в зад целовала за то, что я ее лицом в мое дерьмо?

Наталья Леонидовна растерянно поерзала в кресле.

– Когда похороны? – спросил Леня.

– Завтра утром.

– Что же они дотянули до сегодня? Каретниковы. Сами не знали? Ну, ну.

– Боря, сейчас Леня отвезет нас домой, ты примешь душ... – В голосе матери зазвучали привычные волевые нотки.

– Да, конечно, мама. Поезжайте.

– А ты? Надо успеть предупредить Николай Евсеевич, Марину Николаевну. Извиниться перед ними. Кружилин для тебя много сделал...

– Я ему отработал, – огрызнулся Борис. – Кружилины в моей жизни еще будут. А Ксюха – одна. И... и прости, мам. Я тебя всегда слушал, но сейчас это мое дело.

Наталья Леонидовна обеспокоено посмотрела на Леню.

– Все мы бываем слабыми, брат, – Завадский присел на подлокотник тетиного кресла. – Но так дела не делаются! Если бы вы расписывались втихоря, без понтов, это были бы ваши с Ксенией дела. Могли бы в любой день приехать. Но зачем всех мордой об стол. Завтра соберутся люди. И что? Даже, если ты нафантазируешь красивые глупости на ее счет, и она с тобой распишется, торжеств завтра все равно не будет.

– Да, фиг с ними! – безвольно проговорил Хмельницкий и плеснул себе еще коньяку.

– Какие еще красивые глупости? – всполошилась мать. – Ты что же, Леня, предполагаешь, что после всего, что он вытерпел от этой... от такой невесты, между ними еще что—то может быть?

Завадский встал и прошелся по комнате.

– Дурацкая ситуация, – процедил он сквозь зубы. – Ты—то, что ей сказал?

– Ничего. Я не знаю, что делать.

– Ладно, какие завтра торжества? – Леня вздохнул, и упредил сетования тети. – Об их отношениях с Сергеем вся улица знала! Нашим пацанам я скажу. Кружилину сам звони. А мне дай номера мобильных остальных твоих гостей. А, у тебя, тетя Наташа? Хорошо. В загсе и в столовой я разрулю. По бабкам, думаю, влет только за аренду. Харчи не пропадут. Каретниковы со своими гостями разберутся. Им проще. Их родственники, надеюсь, уже знают про соседа. Ну, а с Ксенией решай сам! – хмыкнул Леня.

Наталья Леонидовна обиженно отвернулась.

– Второй час ночи, – промямлил Борис.

– Лучше перестраховаться, чем завтра выглядеть идиотами. Ладно, поехали, тетя Наташа. Башка от недосыпания раскалывается. – Завадский за локоть поднял женщину с кресла, и на ее немой протест, что нельзя оставлять сына, шепнул: – Пусть побудет один.

Он заткнул пробкой недопитую бутылку и спрятал ее в карман пиджака.

– Поспи, брат. А то, как привидение. Утро вечера мудренее.

– Боря, будь мужчиной. Не совершай опрометчивых поступков, за которые придется расплачиваться всю жизнь, – проговорила у двери мать.

...Борис проснулся на диване. Бок и неудобно изогнутая шея затекли. Сорочка прилипла к телу. Костюм был измят. Хмельницкий сел, осторожно разминая суставы, и провел ладонью по колючей, потрескивавшей щетине. Выключил свет. Хмурое утро через серые окна тут же растеклось по комнате. Декоративные ходики в углу показывали начало восьмого. На сердце было мерзко. Хотелось пить.

Вчера в памяти мелькнуло что—то важное из их с Ксенией прошлого. Хмельницкий достал из холодильника бутылку минералки и сделал несколько жадных глотков. В голове прояснилось.

Борис вспомнил вчерашнюю обмолвку о прогулке с Ксенией в парке. «Исаакиевский собор!» Их, Сергея и Ксении, церковь! Вот, то, что он вчера упустил!

До сего дня Хмельницкий отождествлял религиозный культ с дремотными параграфами пособия по истории философии для высшей школы – он удовлетворительно зачитывал их на экзамене суконным языком со шпаргалки, – а ныне, как модное поветрие. Он знал о церкви большей частью из книг. В детстве бабушка рассказывала, как узнавать части света по храму: вход с запада на восток. В шесть лет запомнил сельского батюшку в рясе и с нагрудным крестом, босичком поспешавшего по проселку: Боря с бабушкой завтракали на бугорке у обочины, после похода за грибами. В тринадцать лет убранство православного храма, запах ладана, плавленного воска и позолоченное великолепие непонятного обряда показалось ему экзотикой. В девятнадцать с криворотой ухмылкой он слушал в Троице – Сергиевой Лавре пронзительную «алилу—у—ю—ю» коленопреклоненной старухи. Историческая случайность в пересказе Карамзина и Соловьева о выборе славянами однокоренного вероисповедания, сутры, суры, ньяя, йога и мохнатое слово вайшешика, пессимизм Екклесиаста, модное чтение Хайдегера и Камю о безнадежной смертности человека, неокантианские выкладки православного толка Павла Флоренского, – первая подвернувшаяся Хмельницкому книга такого рода – пенявшего, что мучительная тоска перед страхом смерти и внезапная надежда, вместо столпа и утверждения веры в сердце православного, не дают даже издохнуть спокойно, размышления Зеньковского, Лосского, Сергея Булгакова, братьев Трубецких, все это с годами перемешалось в сознании Бориса, и не влияло на его жизнь. Он не задумывался о вере.

Но сейчас, после пережитого потрясения, Хмельницкий вспомнил о церкви, ощутил предчувствие радости, словно, нашел избавление от своей раздвоенности и страданий. Как же он не догадался раньше! Истина одна, но каждый видит ее по—своему. Всякий даст ему верный и дельный совет. Но дельный и верный – с точки зрения постороннего человека. И это не значит, что советчик сам поступит так, как говорит, то есть по совести. Благообразная ложь лишь кажется человеку правдой о себе, когда он советует другому. Он не черпает из глубины своего сердца, потому что это чужая боль.

Борис испугался опоздать к службе, не услышать и не успеть рассказать то главное, что он не сумел рассказать Ксении прежде, и что, наверное, знал Сергей.

Он наскоро умылся, забросил в рот «анти полицай» и пошел к машине.

Хмельницкий припарковал автомобиль на площадке перед храмом. Неумело перекрестился на ворота с крестом над аркой и растерянно огляделся. Церковный двор был пуст. За деревьями в отдалении свенчивел пруд. Бездомная собака опасливо понюхала ветерок со стороны Хмельницкого, и убежала. Он представил Ксению и Сергея в этом дворе. И недавнее предчувствие радости истаяло.

Борис нерешительно шагнул к ступенькам церкви, и едва не столкнулся с батюшкой. Священник вышел из—за поворота ограды. Он на ходу оправлял нагрудный крест и бороду. Лет сорока, рослый, осанистый, в черном клобуке. Из—под рясы мелькнули черные щегольские штиблеты.

Хмельницкий не умел обратиться. Он ускорил шаг и поравнялся со священником:

– Простите, можно вас!

Батюшка обернулся на небритого, запущенного мужчину в дорогом костюме.

– Подходите после службы, – пробасил он, не останавливаясь.

– Мне нужно сейчас. Потом будет поздно, – быстро и сбивчиво заговорил Борис. – Я сегодня должен был жениться. Моя невеста беременна от другого. А его убили на войне и сегодня хоронят. Она идет на похороны.

Хмельницкий испугался, что священник примет его слова за пьяную хулиганскую выходку и горячо добавил:

– Я люблю ее. Но не знаю, сумею ли полюбить ее ребенка. А все... Всем все равно! Я не знаю, как быть. Посоветуйте. Как человек. Ведь к вам с таким приходили.

Священник остановился и с любопытством посмотрел на парня. Борис подумал, что не надо было говорить про беременность Ксении. Из—за этого щеголеватый батюшка его прогонит или прочтет скучную мораль.

– Нет, с таким ко мне не приходили. Детишек от других приживали, или сомневались, своего ли воспитывают. Такое было. А это – нет.

– Так, как мне быть?

Священник нетерпеливо посмотрел на храм, и задумчиво покусал ус.

– Вы верующий?

– Иногда хожу в церковь.

– Понятно. Значит, серьезно не задумывались над верой. Вы сказали, что любите ту женщину.

– Да.

– Тогда ответьте себе, сможете ли вы прожить с ней всю жизнь, с такой, какой вы ее знаете, и с ее ребенком, и ни разу не попрекнуть ее этим? Сумеете ли вы простить, так, чтобы не жалеть об этом. Иначе, вы погубите ее и свою жизнь. Не спешите. Я так понимаю, сегодняшний день уже решен. Но завтра будет другой день. А за ним еще.

Хмельницкий согласно закивал.

– Вы правы. Так сразу нельзя. Она только вчера призналась. А что же мне сейчас делать?

Хмельницкий растерянно посмотрел на священника.

– Она совестливый человек. Запуталась в себе. Так не мучайте ее. Дайте мир ее сердцу.

А решение придет.

Священник повернулся идти. Хмельницкий схватил его за локоть и поискал бумажник.

– Вы что? – нахмурился батюшка.

– Я хотел пожертвовать церкви. Простите, я не знаю, как положено... – застыдился Хмельницкий своей оплошности.

– В церкви есть жертвенник... – батюшка кивнул и ушел.

Хмельницкий помялся и нерешительно ступил следом.

Во дворе храма, выстроенного крестом, какая—то старушка троекратно перекрестились и махнули лобный поклон до фигурной брусчатки. За нею по крыльцу и через притвор Хмельницкий вошел в центральный предел.

В церкви в ранний час было прохладно и немногочленно, не смотря на выходной. Молоденький священник с редкой бородкой и перхотью на рясе, с амвона речитативом гнусил главу из евангелия. Тихо потрескивали свечи в медных подсвечниках, воняло масляной краской и воском. Борис ступил к правой солее, чтоб не путаться под ногами.

Горбатенькая старушка в черном выбирала из подсвечника огарки; рослый старик с седой бородой и желтыми усами скорбел в пол, сцепив узлом руки у паха. Борис вспомнил из где—то читанного, что явное признание и исповедание православия большей частью встречалось в людях тупых, жестоких, безнравственных и считающих себя очень важными. Он машинально поименовал по памяти церковный инвентарь из читанного у Чехова и Лескова. Увлёкся и потерял интерес к неизъяснимой херувимской песни на непонятном языке. Он не разделял столет-

ний восторг афоризма, мол, если я слушаю – то не понимаю, а все же хорошо; и думаю: все хорошо – что мы не понимаем; а что мы понимаем, то уже не хорошо. Что—то было для Бориса плохо из того, что так хорошо нагородил Розанов вокруг церковных стен.

Борис принялся рассматривать иконы двенадесятих праздников, апостолов, пророков и ветхозаветных патриархов на иконостасе, списанных с лицевых «Менологий императора Василия второго»: пестрое собрание напоминало пантеон близнецов. Прочитал золоченную церковно—славянскую вязь над клиросом и остался доволен своими познаниями.

Озираясь, Борис ощутил похмельное раздражение. Все эти люди жили заурядной жизнью, как жили до них, и будут жить после, усеивая свой путь противоречиями. Одни читали, что читал Хмельницкий, другие нет. Их привела сюда вера. Но, разные, и верили они по—разному! Первообраз, символ, начертанный на доске красками, у каждого в душе свой. Но именно в храме они находили умиротворение в сердцах! Так ведь и он, считавший себя атеистом, пришел в церковь в решающую для него минуту!

Борис подумал о Ксении. Не только ее опыт, но и внутренняя жизнь, – часто у людей интенсивнее внешней событийности, – вероятно, уступала его опыту, тому, что он пережил в нищенском детстве без отца, тому, что прочитал и передумал. Когда девушка успела понять то, что только сейчас, когда у него на душе невыносимо, стало ему необходимо? (Если только Ксению и Сергея привела в церковь не праздность, а вера!) «Исаакиевский собор» был в их душе с детства, догадался Борис. Они помнили об этом всю жизнь. И Ксюша пыталась рассказать ему, Хмельницкому, о своей любви. Значит, вера ее была не от ума, а от сердца. Как в детстве ощущение доброты. Оно есть и все тут! Потом, во взрослой жизни это ощущение приглушается, его затирают поступки людей. Не вообще людей, а конкретного человека: одного, другого...

И когда Ксюша растерялась, он не сберег ее ощущение доброты. Он подминал ее под себя. Как поступали с ним другие, для которых абстракции, о которых он размышлял сейчас, были в прошлом, либо не существовали. Ибо эти мысли не влияют на жизнь, а лишь мешают видеть ее такой, какая она есть: конечной, с простыми человеческими радостями приобретения, и горечью утрат для одних, и простой формулой счастья – счастье – это отсутствие несчастий! – для других.

Борис вспомнил мать. Она даже не умела перечислить четыре евангелия, но считала себя рьяным неопитом православия! Она любила своего сына, и как всякая мать желала ему счастья. Но при этом вчера, отговаривала его связывать жизнь с женщиной, которую он любил, не веря, что человек может искренне раскаяться и стать лучше! Значит, она думала, будто верит, но ее сердце забыло детское ощущение доброты.

Но ведь он тоже не верит! Ему плохо, и он ищет здесь избавления от страдания.

Допустим, веруя в духовный авторитет, подчиняясь ему против своего разума и против вкусов, воспитанных долгими годами иной жизни, подчиняясь произвольно и насильственно, вопреки целой буре внутренних протестов, люди, прошедшие испытание веры блестящим образованием, именно такой, бездумной, представляют себе настоящую веру. Так почему же он, считая себя не глупее этих людей, признает лишь авторитет своего разума, который привел лишь к тому, что любимый им человек страдает, а он думает лишь о том, чтобы сделать ее жизнь еще невыносимей!

Вокруг канделябра в центральном пределе вились мухи. Борис поднял взгляд вдоль стержня к своду и увидел под куполом сюжет Благовещения Пресвятой Богородицы. Образы спокойно и грустно взирали на него с высоты и знали его мысли. Но тогда они знали и то, что в его сердце нет зла. А досужие мысли от праздности сердца. От того, что он привык жить так, как живут все, думать о себе, потому что на близких душевных сил не хватает и лень...

Молодой священник ушел с амвона через диаконские врата. Батюшка, давешний знакомый Бориса, завершил ходатайственную молитву возгласом: «И даждь нам единими усты...»

Осенил прихожан крестным знамением, подошел через Царские врата к престолу, положил на антиминс на престольный крест, и, оправив пелену и семисвечник, вернулся.

Борис подумал о краткости человеческой жизни, о страстях, ничтожных перед вечной любовью, которую здесь находили и найдут поколения людей. Через столетие не будет его, не будет Ксении, не будет ее ребенка. Поэтому важно то, что они делают сейчас. Если бы Сергей жил, вероятно, Ксения осталась с Красновским. Она сохранила его любви и память о нем. Теперь ей решать, нужен ли кто—то третий ей и ее будущему ребенку. «Дайте мир ее сердцу!» – вспомнил Борис совет священника, и подумал: самое трудное только начинается.

Он осторожно пошел из церкви, чтобы не расплескать в душе то, что сейчас понял. У выхода выгреб из кошелька все бумажные деньги и запихнул их в щель деревянного ящика. Перекрестился и зашагал к машине.

...Выглянуло солнце. Скамейка у подъезда, кусты, асфальт и деревья заблестели, словно облитые маслом. Из—за угла, прыгая через лужи на бордюр, выскочил рыжий офицер. Чтобы не промахнуться начищенным ботинком мимо камня, от старания он высунул кончик языка. Встретился глазами с Борисом, кивнул и запрыгал дальше.

На лестнице перед квартирой Красновских и между этажами были люди. Борис без галстука, бледный и с красными глазами вошел к Каретниковым. У них было не заперто.

Здесь царил грустная деловитость: хлопотали родственники, знакомые, приехавшие по инерции запланированного и переориентированного мероприятия.

Вера Андреевна у трюмо поправила черную косынку. Кивнула Хмельницкому.

– Вера Андреевна, Леня сейчас...

– Да, да, я знаю. Он звонил. Саша с утра поехал туда. Ксюша у себя...

Борис осторожно постучал и приоткрыл двери.

– Можно?

Ксения обернулась от стола. Черное платье и бледность делали ее красавицей. Девушка торопливо просматривала альбом с фотографиями, очевидно, выбирала снимок.

– Входи. – Она пригляделась к Борису и вернулась к альбому. – Что с тобой? Ты выпил? Хмельницкий поморщился, и вяло отмахнулся.

– Ксюш, я знаю, сейчас не время, – он помялся. – Но, если ты меня простишь за все. То может потом, когда все... закончиться. Только ты мне не говори сейчас ничего. Я знаю, ты его любишь. А я тебя такую люблю еще больше... – он смешался и замолчал, с тоской ощущая: то главное, что он понял и хотел сказать, слова не вмещают.

Ксения подошла и уткнулась ему в грудь. Ее плечи вздрогнули. Боря неловко погладил девушку по спине, успокаивая, и прижал к себе.

– Ничего, поплачь. Говорят, потом легче. Я зайду к Красновским. Простится с ним. А потом пойду. Ладно?

Ксения закивала. Борис еще крепче прижал ее к себе.

Ужинный угол

Повесть

За забором недостроенного суда напротив администрации трое пили водку. Отсюда хорошо просматривалось милицейское оцепление, автобусы вдоль дороги и богатые машины в траурных лентах. Похороны мэра организовали с размахом. Было двести венков. От предприятий разрешили по пять человек. Но площадь перед исполкомом заполнили люди. Многие плакали. От цветов рябило в глазах.

– Гнида бандитская! – отозвался молодой баритон. – Жил и подход волчарой!

– Ладно, уж, гнида! – укоризненно проговорил третий, сипатый. – Город из дерьма вытащил! Автобусы пустил. Дворец спорта с бассейном, ледовый дворец построил. Ночью, как в Монте-Карло!

– Одно слово – хозяин! – уважительно подтвердил басок.

– А скольких в бетон укатал! Икает пред боженькой то! – не унимался баритон.

– То для дела! Те, что в бетоне, под себя гребли! А он им дележ устроил!

– Это не менты! – подтвердил басок. – Не поспоришь. Быстро башку свернет!

– Опять же, черножопых с рынка выгнал!

– Да, где у нас были, черножопые то? – не унимался молодой.

– Не хочешь пить, не пей! – рассердился басок. – А по-русски о покойном абы как не положено!

– Да я ничего! – хватился баритон. – Но крови он все ж много плеснул.

– Без этого дела не делают! Ну, давай! Земля тебе пухом, Геннадий Сергеевич!

Махнули, не чокаясь. Закряхтели, засопели, забористо заматюгались под колбаску, нарезанную кружочками. Дошло до табака.

– А со слепым, чего теперь? – пустив дым через нос, спросил сипатый.

– Домой отпустят! Он, что ли стрелял? – Молодой прищурился от дыма.

– Да-а, мля!

– А кто ж теперь вместо Костикова? – спросил басок, и разговор потек в русле большой кухонной политики. Решили, с мэром свели счеты.

– Тише! – осадил сипатый. – Мент косится! – Трое посмотрели на щель, в которой маячила недовольная потная физиономия в фуражке набекрень.

– Допиваем и айда! – сказал молодой. Быстро разлили и закатали бутылку под бетонные плиты. Спустя минуту пятачок опустел.

* * *

Агент по недвижимости, толковый и оборотистый паренек, подыскал Кузнецовым то, что они хотели – дальний хутор у Бобровой заводи: крепкий пятистенник с задиристым петухом на крыше, боковая изба времянка, хозяйственные пристройки и баня. К прочему – гектар земли. Ничьей земли здесь у эстонской границы было столько! – рук бы хватило поднять! А главное – лес! Могучие сосняки, где эхо звенело в чистом голубом воздухе; сумрачные ельники, пахнувшие грибами; березовые рощи, белые, как декабрьская пороша. И тишина на десятки километров. Оглушительная, после города. За лугом изумрудной травы простужено ворчал ручей. В низине у леса болотился черный омут. В ряске пучеглазые лягушки охотились за мошкаркой, бойко чертившей в воздухе зигзаги, а корявые ивы по обрывистым берегам припали бурными корнями к воде, да так и застыли.

Прежние хозяева осели в городе и чаяли взять любую выгоду за бросовое место.

– Сами увидите, Алексей Петрович! – замялся агент.

В кабинет директора агентства Ладыжникова, долгоязого и смуглого, с красивой седой, вошли двое. Приземистый малый лет тридцати пяти в дешевом отутюженном костюме и в черных очках придерживал за локоть простоволосую женщину в ситцевом платье с фиалками. От верхней губы до бровей лицо его обезобразил ожог. Представился: «Кузнецовы».

– Вырос я в этих краях, – говорил мужчина. – В городе не вытянуть нам. Коммуналка. Работы нет. Ехать боимся! А что делать! – У него был приятный голос, с густой командной нотой. Он пожал пальцы жены, обветренные, в заусенцах. Та мягко освободила руку. Нервные губы. Карие глаза с едва заметными азиатскими перепонками.

«Не ладят!» – решил директор.

– Служили? – спросил он.

– В вертолетных войсках.

– На земле работать надо! – осторожно сказал Ладыжников.

– Я тоже самое говорю! – глуховатым голосом подтвердила женщина и достала из сумочки папиросы. Директор придвинул пепельницу.

Все помолчали, словно вошел поп, и теперь ждали, что он скажет.

– Все-таки попробуем! – мягко проговорил Кузнецов.

«Упертый!» – подумал Ладыжников. И возражать не стал.

Про себя директор отметил, как быстро летчик освоился. Ложечку опустил на край блюда, и метко стряхивал пепел. Отметил время по часам с боем. «Четверть, а у вас работа». Без «поводыря» прошел к двери за женой. Как рациональный исследователь, он разведывал изнанку зримого мира.

На своей «Ниве» директор отвез Кузнецовых к месту: километров двадцать по асфальту, а затем десяток по грунтовке мимо деревни с продмагом. «Места тихие, – ни без иронии рассказывал в машине. – Клуб заколочен. Пьяных мало – мужики на заработках. Кто подпарывал ножом, остепенился». Отвез, чтобы быстрее уладить дело! «Сам отставник, знаю! Трудно нашему брату!»

Осмотрели хозяйство. Дом был крепкий. Восемнадцать венцов. Бревна сруба не потеряли сочный древесный цвет. Может, кое-где руку приложить. В горнице половица скрипнет, в смежной комнате дверные петли тихонько пожалуются. Пилот запоминал все: ласку закатного солнца на правой щеке, если спиной к воротам, и пять ступенек крыльца; прелый запах брошенного жилья в снях, и пристук ставни, сорвавшейся с крючка; счет шагов к кладовке, и – к теплой уборной рядом с пустыми клетями; бугорки воздуха под старыми обоями, «внутренней шкурой на избе»...

– Кота б сюда! – Наталья безглаголиво осмотрела мышинный бисер вдоль стен и мумии насекомых на подоконнике.

От прежней жизни на стене остался плакат. Грубая красавица протягивала Белинского, Панферова и еще стопку каких-то книг, забытому на подоконнике томику Набокова. Писатель умно улыбался с обложки, и не брал.

Кузнецов ощупал чугунную печь с нерусским, округлым боком и литой монограммой «Ян Круль», и мягко прихлопнул по шершавому боку «Яны», как он уже мысленно нарек ее. Уголки его губ дрогнули от удовлетворения.

Еще только ступив на заросший лопухами двор, он почувствовал знакомое с детства ощущение дома. Бывает, и стены радуются гостю и люди приветливые. А хочется вон: здесь добрый товарищ, но не друг. Это пристанище, но не твой дом.

Наташа отмалчивалась. Раньше ей казалось, она не любит его. Первый раз вышла замуж за студента. Кузнецова и Наташу познакомили друзья. «Ты бросишь его в его степи! Испортишь себе и ему настроение!» – говорила мать. «Ему в отпуске надо жениться! – смеялась дочь. – А мне двадцать пять! – и – У офицеров льготы!» Позже писала матери: «От его шинели пахнет

морозом! Как мило!» Когда его вызвали в академию, сказала: «Кузя, а квартира? Мы с Дынькой не сможем в коммуналке!» Но без Кузнецова затосковала и приехала с сыном через неделю.

«У нас транспортная авиация. Это не опасно, – объяснял Кузнецов о войне, и видел – жена не верит! – Там платят...» И она смирилась.

В госпитале пошутил: «Не увижу тебя старушкой! – и добавил. – Езжай ка, Нат, отсюда! Кормилец кончился!» Жена уткнулась в ладони и заныла, как ноют дети, боясь, что за слезы им влетит. Прошептала: «Кузя, я забыла сумку! А там пирожки от мамы! Прости меня, Кузя» Она просила прощения за их жизнь, разбросанную по пустыкам.

Дома, ночами по дыханию Кузнецов слышал, жена не спит. Тогда и сделал свой последний вираж. Сказал: «Останемся в городе – пропадем!» Она подумала: «Ты туалет сам не найдешь!» А вслух устало: «Как хочешь!»

Кузнецовы не спеша, переходили среди вольной травы от мастерской к сараю, от сарая к скрипучему вороту колодца с ржавой цепью и мятым ведром. Денис, их мальчик лет двенадцати, то и дело выбегал вперед, словно козленок на воле: потрогать ржавый серп на гвозде, или удивиться бурой подкове на двери амбара. Он покосился на гостя: отец неуклюже боком протискивался в распахнутые настежь ворота. Наталья, досадуя, ушла к машине. «Зря ты это затеял, пилот!» – подумал директор.

– За лесом озеро, – подытожил он. – Если б дорогу сюда, золотое место. Охота, рыбалка. От дачников отбою б не было. А так, конечно, места диковатые. На любителя. Но лучше вам не найти! – «За эти деньги!» – добавил мысленно. И про себя решил: «Сами разберутся!»

Поначалу местные потешались. Рассказывали так. Слепой у порога долго, как волк, нюхает ветер. Потом пойдет, расставив руки вниз и в стороны, и растопырив пальцы, будто шарит, на что бы сесть. Шаги считает. Крадется к сараю на полусогнутых, боком, будто, фехтует обеими руками. Мимо! Сарай сзади. Он опять нюхает. Крадется назад. Мимо! Кликнет бабу или пацана. Идет на голос, и все сначала. «Упрямый!» – говорили одни. «Дурит!» – другие.

Кузнецов вставал до света, копал, приколачивал, стругал, переходил от одного к другому охотно и неторопливо, переделывал, не особо веря щадящему одобрению родных, пока не появлялось ощущение сделанного на совесть. Беспольный городу, он знал, здесь все зависело от него. Пространство для него окрасилось в зеленый цвет.

Первые недели после работы Кузнецов с сыном обошел окрестности. Запоминал звериные тропы, вслушивался, где лес расступится, и гулкое эхо растворится над поляной, либо напротив, ударится о кромку леса и покатиться под пушистыми сводами. По запаху, как зверь, угадывал ельники, грибные места на сухих возвышенностях, по прикосновению солнечных лучей – с какой стороны дом. Шел осторожно, примериваясь к изгибам тропы. Карабкался по склонам оврагов напрямик через высокий, с человеческий рост папоротник, шестым чувством улавливая обратную дорогу. Если цеплялся за корень, торчавший из земли, натыкался на ветку, предупредительно выставленную вековым чудом, то долго ощупывал и отаптывал место. Надеялся, в следующий раз лес не подшутит над ним, допустит к своим заповедным тайнам. Ведь, человек в незнакомом месте идет наугад, ориентируясь по мху, солнцу, ручьям, сбегаящимся к речушкам. В лесу люди равны. Выберется тот, кто поймет лес, услышит его подсказки.

Как-то спозаранку решил пройти сам, и сбился. Поляны, где отдыхал и тшился уловить домашние звуки и запахи, овражки с жгучей крапивой и душными испарениями, дятел, бывший гулкую дробь через вдумчивые промежутки, хищный звон комаров, остервенелыми стадами круживших в тенистых укрытиях, сменялись в бессмысленной панораме, как если бы через лупу разглядывал многометровое полотно. Лес был равнодушен к инвалиду.

Настал вечер. Еще не сумерки, но уже не день: в такую пору звуки особенно чисты. Кузнецов позвал, стесняясь голоса, сорвавшегося на фальцет. Потом аукал и орал до боли в сухой

плотке. Ужас первых дней, когда он понял, что ослеп навсегда, вернулся. Пилот представил, как его ищут, и устыдился своего ребячества. Помолчал! Но страх был сильнее.

– Коля, ты что? – Жена тронула его за плечо.

– Наташа? Ты здесь? – опешил Кузнецов.

– Выглянула в окно – ты кричишь за сараями. Подумала, что-то случилось...

Рассмотрев мокрое лицо мужа, все поняла. Взяла за руку и повела в дом.

– Денис тебя весь день ждал! Ограду бы доделали. Крышу...

– Надо что-то придумать, Наташ. Не будете же вы мне вечно в услужении...

Посчитали деньги. На следующий день Наталья привезла из города Филю, подростка кавказского щенка черно-рыжего окраса.

– Обождет нас! – Кузнецов с улыбкой теребил мохнатый загривок зверя, и наткнулся на пальцы Дениса. Жена вздохнула.

– Один намордник чего стоит! Без него в автобус не сажали!

К середине лета натаскали собаку. Под вечер Кузнецов впервые пошел с Филей. По ложине вдоль ручья выбрался на возвышенность к звенящим взмахам косы. Поодаль услышал насмешливый оклик:

– Здорово, Паниковский! Волков пугаешь? – По шороху травы пилот угадал, косарь отер полотно. – Не оступись, тут кочки. Очки понтовитые! Зданешь!

– Привет! – Кузнецов тылом руки промокнул лоб. – Городской?

– По разговору угадал? Да уж, городские на селе по гроб – дачники! Перекурим, сосед, если ты дела сделал? Где взял такого Белого Джим дай на счастье лапу мне? Друг человеку одному, а другому враг? А?

Пес басовито рывкнул и повилял хвостом.

Присели. Скошенная трава кружила голову ядреным духом. Филя улегся у ног хозяина, положил морду на лапы, и вздохнул. Косарь назвался Леней Молотковым. От него слегка тянуло самогоном. У обоих оказалась «Прима».

Это был мосластый светловолосый мужик лет сорока. На селе его звали Жердь. На лице этого балагура смеялись только ноздри. Глаза же между припухших век смотрели цепко, как два умных зверька.

– Где это тебя так? – спросил Лень.

– В горах шмели покусали.

Лень хмыкнул.

– Ловко ты картошку сажал! Мы с Серегой, егерем, засмотрелись! – одобрил он. Кузнецов вспомнил: Денис по ряду отца ставил колышки на равном расстоянии, тот копал по отметине, кидали «семена», и засыпали.

– Не поздно? – спросил Кузнецов.

– Нормально. Зима студеная была. Земля промерзла. В деревне перед вами за неделю отсеялись. Да ты не трусь. Осенью, когда совхозное поле уберут, сопнешь картохи сколько надо. Сторож свой, дед Илья! За магарыч в избу тебе мешок притащит. Только зря все это!

– Что зря?

– Зря приехал! На вид, вроде, не дурак! А сюда либо дураки, либо безрукие приезжают! Земле ныне по фиг, кто ее насилует! – в голосе Лени звучала досада. – Читал Андрюху Климентова? У него там на русскую деревеньку всем насрать! Могила лаптям, она и через сто лет могила!

– Ну, а ты дурак или безрукий?

– Я то? Дурак! На останки своей детской родины прибыл посмотреть. Домовину матери раскопал, а она вся сгнила.

– Не понял.

– Тебе, Коля, со зрением повезло, а то бы видел, в Бобрах окна в крайних избах досками защиты. Я тут третий год взвэпэ удваиваю. Прокормиться можно. А на что барахло купить? У городского рынка братки кровавыми соплями встречают. Нам еще с участковым повезло. А у других еще и без справки от ветеринара хрен вывезешь мясо! Если не сбежишь, узнаешь! Еще в кусочки сходишь! Крестьяне раньше в голодные годы у крестьян побирались!

– Да бежать-то некуда!

– Квартиру в городе продал? Ну и дважды дурак!

– Егерь, это который на «Уазе»? – перевел на другое пилот.

– Ага. Ты в моторе его «козла» копался. Говорит, доломал! Шучу! Хвалил тебя. С его слов, прямо, слепой музыкант!

Своим новым «зрением» Кузнецов «видел» людей в цвете. Точнее это были воспоминания о радужном свечении. Он впитывал невидимые волны человека, и, когда в реабилитационном центре добился гармонии цвета и ощущения формы – успокоился. Человек обзрывает мир вокруг. А дальше лишь ощущает пространство. Кузнецов расцветчивал поступки людей через ощущение правоты, либо неправды. Терпеливо учился видеть заново.

За хмельной прямотой Лени пилот угадал замутненный песком родник, весело шумящий меж камнями. Такой легок в дружбе. Иное – Миронов, егерь. Эдакую скотину, падкую на дармовую выпивку, дорогие сигареты и свеженькие анекдоты Кузнецову случалось встречать. Изворотливые и нахрапистые холуи эти известны людям. Серый цвет с зеленым отливом, как жирная навозная муха. Вошел на двор не спеша, приглядываясь, какого калибра человек поселился в их краях, крепко ли на ногах стоит. Не раз проезжал мимо брошенного хутора. Теперь, двор, некогда поросший сорняками, вычищен, земля взрыхлена и размечена под грядки. Штакетник отремонтирован, взамен прогнивших и завалившихся столбов стоят новые. От ворот ровная дорожка посыпана речным песком, и по краям выложена гладкими валунами. Новые ставни с резными петухами для гармонии с верховным петухом на крыше. Да и на крыше в некогда худых местах жестяные заплатки играют в переглядки с солнцем. Гнилые причелины заменены на тесаное дерево. Навес над крыльцом на свежих сосновых столбах, пахнущих смолой. И даже сколочен собачий дворец у сарая.

Но что-то в работе было не так. Взгляд цеплялся за промахи. «Халтура!» В некоторых местах штакетины были прихвачены слабо, будто делала женщина, рассыпаны то густо, то жидко. Столбы отесаны, то ли под пьяный глаз, то ли под слабую руку...

Окликнул. Представился. Филя грозным баском встретил незнакомца, грузно переваливаясь на тяжелых лапах, зарысил, но хозяин одернул, и пес, недовольно урча, улегся у крыльца.

– Обживаешься?

– Обживаемся!

– Хреновато обживается! Столб под навесом перекошило! И скат круче бы надо! А то зимой снегом раздавит! – егерь отер лоб. – Ружьишко имеется? – спросил он и только тут разглядел, что хозяин инвалид: на завалинке мужик в черных очках тесал колышки, с той сосредоточенностью на лице, с какой вслепую выуживают из мутного рассола последний огурец. Вспомнил рассказы местных, и растерялся. Хозяйке, выглянувшей из окна на разговор, ответил комплемент. С изюминкой в сухой булке. «Клумба хороша. Но не приживутся цветы. Лес. Света мало!» В скрипучем голосе Миронова проступили снисходительные нотки.

Держался Миронов доброхотом и с достоинством. По повадкам было видно, в этих местах он хозяин. По голосу пилот определил, егерю лет тридцать и он на полголовы выше. По легкому шагу – сухощав. По тому, как часто утирал лоб, – в головном уборе, скорее всего в форменной фуражке. Кузнецов припомнил из детства почтальона в штопаных штанах, но неизменно с кокардой, и покривил рот.

– А ты местная власть?

– Ага. Звериная ветвь, – гость присел рядом. Поговорили о машине. Егерь про себя подивился осведомленности калеки. «За пять лет мы с водителем „козлика“ по болтикам перебирали!» – пояснил пилот. «Заводи!»

После ремонта – Кузнецов подсказывал, егерь делал – перекурили.

– Наташ! – окликнул жену. – Подай, пожалуйста, квасу. Пекло...

– Одному то не страшно на отшибе? – спросил Миронов.

– А кого бояться? – Кузнецов позвал сына. Белокрысый мальчишка в джинсовых шортах и в спартаковской футболке вышел из сарая. «Копия!»

– Денис, будь добр, принеси карабин! Покажем дяде Вильгельма Теля!

– Один у тебя?

– Один.

– У меня трое! В городе они обуза, а в деревне помощники.

Егерь видел, здесь не ломались под деревенских, черпая из богатых далевских залежей: запоздниться, а не опоздать; угожей, взамен угодней, животы, как домашняя живность...

Денис вернулся с армейским карабином. Мать неодобрительно поглядывала из окна, протирая посуду.

– Разрешение на ствол есть! – перехватил мысль егеря Кузнецов

За сараями к огромной сухой сосне на краю леса, теснившего участок, была приколочена фанера под мишень с самодельными кругами мелом. Денис палкой ткнул в яблочко и отошел к отцу. Кузнецов, повернул голову ухом к дереву, приподнял подбородок, вскинул карабин и шагов с пятнадцати расщепил середину. Пока отец передергивал затвор, мальчик швырнул жестянку. И, когда банка скакнула по земле, пилот на убывающий звук поднял ее волчком. Передал оружие сыну. И тот, намертво прижав приклад к плечу, всадил в фанеру пулю левее отцовской. Заряды здесь берегли.

Денис унес оружие в дом. Пес, весело твякая, увязался следом, просовывая голову, то справа от ног мальчика, то слева.

– Ловко! – егерь покосился на Кузнецова. Крепкий затылок, не раздавленные деревенским трудом, но жилистые руки, поджарая фигура. В городе Миронов видел инвалидов, щупавших палочкой дорогу, с анемичными, словно восковая маска, лицами, сосредоточенными на себе и на том, что рядом. Чужое увечье вызывало в нем страх. Он представил без света месяцы и годы, безысходность наедине с собой. Запаниковал и отмахнулся от видения. Давешнюю снисходительность к пилоту сменило почтение.

– Стреляете-то вы лучше, чем плотничаете! А разрешение все ж на охоту надобно... – сказал егерь.

– Куда мне охотиться!

– Вихлявый он, как моль перед лампочкой, а тень все равно на потолке видна! – Наталья проводила взглядом «Уаз», пыливший по проселку. – И приезжал не зря! – Кузнецов не ответил.

...Пилот спросил, где дом? Косарь ссыпал табак от окурка в пачку.

– Слышишь, трактор? На звук иди, вдоль леса и направо.

– Заходи в гости!

Пилот держался края тропинки, чтобы правый сапог облизывала трава. Филю вел на коротком поводке. Шагал неторопливо, но уверенно. Не услышав косы, махнул на прощанье и скрылся за поворотом.

И первый раз Леня пришел так. После ужина Кузнецовы отдыхали на завалинке. Дальний лес за полем еще подрагивал в раскаленном червленом воздухе, поднимавшемся к небу, как золотистые прозрачные волосы на ветру.

Молотков принес старый мешок и присел на крыльцо. Поклажу устроил между коленей. Затем, обтопал пыль с сандалий на босы ноги, и вправил в холщовые брюки полосатую

рубашку – все-таки женское общество! Леня был под хмельком. Дорогой оправился: пуговицы на ширинке белым флажком защемили уголок рубахи. Денис и Наталья переглянулись. Поправлять незнакомца было совестно. Хитро ухмыляясь, Леня покрутил ус соломенного цвета, развязал горловину и заглянул внутрь.

– Как зовут? – спросил Денис. – Да не тебя, а твоего дракона! – Молотков кивнул на пса. – Ага! Тогда попридержи-ка Филина! – И когда мальчик ухватил собаку за ошейник, к удивлению женщины и ребенка долговязый гость попеременно вынул из мешка черно-белую крольчиху и белого кролика с красными глазами. Те дрожали у ног человека – пес басил и вилял хвостом.

– Гостинец! – пояснил Леня. Наталья, подбив подол, присела и погладила зверьков. Молотков осмотрелся и сказал уверенно:

– Женская рука!

– Это мы с папой! – вступился Денис. – Мама только говорит, где делать!

– О, как! Убил взглядом! – Леня приобнял, было, парня, но тот увернулся.

На следующий день Молотков отремонтировал клетку для животных.

Всегда он был весел. Случалось, наблюдал, как пилот мучил работу. Мягко отнимал инструмент и переделывал: «Перекури, Коля!» «Хомяк поддается дрессировке! – подбадривал. – Главное, страх убить!» И когда Наталья просила его сделать то и то, он всегда без малейшего колебания говорил: «Это можно» – и помогал. Шутил: «Если здесь хорошо, коли слушаешь и не обижаешь, неизвестно будет ли там хорошо! Тут поспевай!»

После бани у Кузнецовых под рюмашку Леня рассказал, жена с дочкой убежала к родителям. Осенью с тестем приезжает за урожаем. Зовет в город.

– А я там прорабом был с окладом и наградными за «гишефт махер». Не, сначала четыре года на филфаке отбарабанил. Не мужское это!

– За водку выгнали? – спросила Наташа.

– Хорошая ты женщина, Наталья, но язва! Примаком не могу. К воле привык. Надоели все эти Антоны, вступающие в бой. Тут хоть шерстью защитной покроешься вместо одежды, так своей. И никому не должен.

– А дети?

– Дочка! Машка! – поднял палец Леня. – Я за нее любому! – он показал кулак. – Бабская логика! Женщина чувствует нужность в жизни через детей. А дети и сами вырастут. Главное, не мешай!

– Не мешаешь?

В голубых хрустальной чистоты глазах Лени всплыла муть печали, растеклась по распаренному лицу и зацепилась за кривую ухмылку.

– Один умный человек сказал, что современная женщина так же слезлива и груба сердцем, как в средние века! А, глядя на тебя, Наталья, добавлю, коня ты остановишь, чтоб было на ком пахать, а в горящую избу войдешь из жадности! Говорят, ненависть женщины может понять только другая женщина. Но я тебя понимаю. Для тебя, жены боевого офицера, я люмпен, горьковский тип! На тебя свалилось...

– Не болтай!

– Обо мне еще заговорят! Главное, не мешай русскому человеку власть и он поднимется!

– А кто же тебе тут мешал? – спросила Кузнецова.

– Посмотрим, как ты осядешь! Земля государственная. Не твоя. В своем огороде копайся! А как поднимешься, найдутся охотники на твое добро! Кто землей владеет, тот и страной владеет. Это тебе не нефть, земля пребывает в веках! А кто власть добром отдавал? Вот когда все из-под земли выкачают, и хлебушка купить не на что будет, тогда и скажут, берите, да растите, а то амбец нам всем. Все жрать хотят, а земледельца с прахом равняют! Хоккеист такие деньжищи клюшкой загребает, что область год кормить можно. А откуда денежки? От марксовой

прибавочной стоимости? Шиш, Коля! – Молотков предъявил кукиш с черным трудовым ногтем на большом пальце. – От таких лохов, как мы с тобой!

– Времена не те! Земля есть. Работай! – сказал пилот.

– Много ты знаешь о временах. Что ты видел, кроме своих вертушек!

Молоткова слушали в пол-уха. «Пустомеля!» – называла его Наталья. Но дружила с ним.

У озера по грибы Кузнецовых застал ливень. Небо озаряли фиолетовые всполохи, как черные горы, перевернутые вершинами вниз. Мокрый Филя жался к людям. За сотками картофеля и поленицей под навесом виднелась изба Молоткова, черная от времени.

Леня дал переодеться в сухое. В теплой избе согрелись. (От шерсти Фили повалил пар, разнося крепкий псиный дух, зверь, поймав чей-либо взгляд, коротким взмахом хвоста просил его извинить за вторжение, и пришлось вывести пса в сени). Но к вечеру Денис пылал. Леня хлопотал возле больного: одеяло пододбьет, воды принесет. Обтерли мальчика самогоном. Не помогло. Тогда Молотков нырнул в рыбацкие сапоги, накинул плащ-палатку и по хляби отправился в деревню за знахаркой. Привез ее на «попутном» самосвале. Водителя, злого спросонья, долго уговаривал взять за извоз курами. Затем из комода достал «нычку». Водитель повертел мятые ассигнации и сообщил, что «здесь и половины нет». Посмотрел на горевшего мальчишку, на мужика с черной повязкой на глазах и, матерно ругаясь, пошел в кабину греться самогоном.

– Где ты его нашел? – спросил Кузнецов.

– Дорогу к озеру строят. Слышал? Он у Петровны заночевал, – кивнул Молотков на маленькую старуху, хлопотавшую над больным. В черном платке она походила на грача, важно шагавшего по комнате.

В холостяцком жилище Молоткова по назначению была приспособлена единственная комната. В другой – хлам. Хозяин постелил пилоту на топчане. Но обоим не спалось. Душевная хлопотливость Лени тронула гостя. Подействовали травы знахарки: Денис взмок, будто в воду нырнул. Его переодели, и он уснул. Мать устроилась рядом. Леня укрыл ее овчинным полушубком. Отодвинув сухие вязанки чеснока, и смахнув шелуху, мужики устроились у края стола.

Буря где-то повалила столбы электропередачи. Под свечку, непогоду и самогон завихрилась мысль, как водоворот вокруг пустого места. Пилот пригубил для компании. Задушевные разговоры отшумели в юности, но сейчас обстоятельства располагали.

– Злоба в людях, Коля, ибо веры нет! – вел в полголоса монолог Молотков. В майке и портах он доверительно подался к собеседнику и по привычке пытался заглянуть под черную повязку, в глаза. От жестикуляции пламя дрожало, и на стене шевелились две гигантские тени. – Знание умножает печаль. Щас так кумекают, задень меня, я тебе такую тварь дрожащую покажу, Федя вздрогнет! Всем все можно! Душа наподобие инвентарного номера попам для отчетности нужна. А твоя, например, правда в том, что твоя родина сейчас на моей кровати спит. Остальное все муйня!

– Это в тебе, Леня, одиночество кричит! – прошептал Кузнецов. – Ты за бабкой, и водиле денег! Не перебивай! Вот, где – правда. Если бы каждый за себя, мы бы тут не сидели! Когда со мной это случилось, я понял, человек человеку поможет, если только не вместо другого делать. Разницу улавливаешь? А ты значит верующий...

– Крещеный, но в церковь не хожу. Молитв не знаю. Бабка учила, да забыл...

– А я было испугался!

Беззвучно рассмеялись.

– Нет, Коля! Попам не верю. Но без Бога нельзя. Пусть он нарисованный на дощечке! Или пусть домашний. Но, чтобы и ты, и я, чтобы мы, не стовариваясь, понимали какой! Бог – это великая мечта человека! А без мечты человек – тля. Он на звезды смотреть должен. Нако-

вырылся за день в земле. А потом поднял морду к небу и сказал «Эх, мля! Не все же одна картошка!» И на сердце легче!

– Ты стихи, часом не пишешь?

– Ну вот, стихи! Ты, как моя жена! Если про звезды, так с чудинкой, что ли? – Леня опять подался к приятелю. – А я приглядываюсь, ты тоже, вроде мечтатель, хоть и военный? Ладно, не куксись! Лермонтов, Толстой и Куприн из военных. Уважаю. Ты про армию молчишь. Офицер. Рядовые дела тебе по фигу. А у каждого из нас, если прикинуть, свое Куликово поле в жизни бывает! Так вот послушай.

В армии еще духом я не поладил с чурками. Знаешь, наверное: если я, положим, из Тамбова, а ты из Костромы, то хрен ты за меня вступишься. А у них иначе. Зацепил одного, так они сначала ордой порвут, а потом земляка спросят, из-за чего сыр-бор. Вот отловят они меня всей ватагой. Навалют. Потом я одного встречу, – больше не успевал – навешаю крендельков маковых. Опять они меня ловят. Через пару недель Леня Молотков – один большой синяк. До того дошел, что решил, одного удавлю. А там, хоть в дисбате гнить. А отступить нельзя! Как потом служить? Узнал про то наш сержант, дембель. С дедами переловил он орду и устроил им Куликово поле. Привели ко мне на расправу самых матерых чурок. В душе я пляшу от злорадства, пестую месть. Чурки насупились. Деды мне говорят, молоти их, как они тебя молотили. Смотрю я на чурок. Знаю, случись нам встретиться, опять бы увечили. Кулаки зудят. А как начали дружки науськивать – бей, бей, бей! – руки опустились, и злость прошла. Говорю, в драке могу! А как палач, нет! И ушел.

Сержант уволился. Ну, думаю, вешайся, Леня. Неделя, месяц проходят. Не тронули! А потом ихний, в нашей роте, признался: сначала они меня за дурачка считали – лезет на рожон, ну и лупи его для смеха. А вышло иное...

Вот, Коля, сколько лет прошло, и не раз я на кулаках за правду, и по глупости выходил. А все гадаю, кем бы я стал, если бы ударил чурок, когда их держали? И в чем правда, в том, что сержанта боялись и не мстили ему и, значит, мне, либо в том, что совестно нам было руки друг на дружку поднять? А еще думаю, как бы повернулось, если бы сержант за меня не вступился?

Кузнецов поерзал на табуретке.

– Ты меня попом на исповеди выбрал? Сказать бы тебе, выбрось ерунду из головы. Так ведь хочется на звезды взглянуть! – Они снова засмеялись.

– Коль! Скажи, почему так: сколько книжек написано про доброту, а все ж хочется зуба за зуб лишить, а не щеку подставить?

– Сам знаешь! Чтобы не повадно было...

– Что Наталья у тебя такая серьезная? Щас ничего. Физкультура на воздухе ей на пользу. А раньше из лица кирзу крои...

– У нее спроси! – усмехнулся Кузнецов.

– Потому что в горах не Колю, а меня нашли! – женщина неслышно вошла, поправляя волосы. Ее большая тень дрогнула на стене.

– Да ты мать Тереза! Спит? – спросил Молотков. Наташа кивнула. – Плеснуть?

Хозяин ушел за стопкой. Женщина, кутаясь в платок, подсела к мужу.

– Молотков, – сказала Наталья, – хочешь, я тебе по хозяйству отработаю? У меня теперь вон, какие руки! – Она показала ладони, но в запрыгавшем огне свечи Леня ничего не разглядел и пренебрежительно отмахнулся.

– Ты лучше вот, что скажи. Ты – школьная химичка? – Наташа утвердительно промычала. – Я директора знаю! Мужик ничего, но с тараканами, как у Дьяконова. Баб боится и всю жизнь роман пишет. Давал почитать. Начало, как у Белых и Пантелеева. Сурово вывел. А энд-шпиль что-то между Гари Портером и Властелином яиц. Без чекушки не разобрать. Хошь, протекцию?

– Хороший ты мужик, Молотков, но трепло! О делах говорят трезвыми.

Леня опять отмахнулся.

– Я под нагревом лучше трезвого мыслю! С этого, – он щелкнул себя по кадыку, – греческая философия началась. И русская! Веню Ерофеева читай!

В Бобрах Кузнецовых сначала звали «дачники». Шатались по лесу за грибами и ягодами, для физкультуры ковырялись в огороде. Осенью, нет, чтоб рвануть в город – все надрывались по хозяйству. А получалось кое-как.

Случалось, прохожий остановится возле дома Кузнецовых у колодца – оцинкованное ведро и алюминиевая кружка всегда стояли на деревянном люке. Любопытно, как управляется слепой. Зырк, зырк! Хозяев не видать. Все при деле. Выплеснет остатки из кружки, крикнет – «че болтают?» – и пойдет.

Наталье сочувствовали. Инвалид! – он теперь живи, как придется! А у молодой женщины соблазны! Она же делит судьбу слепого. И не жалуется. Потешались над ее цветником перед домом. «Больше огорода!» Недоумевали, зачем наряжается, если муж не ценит. Списывали на ее городские привычки. «Притрется!» Главное, ребенок ухожен. Значит, с главной обязанностью бабы справляется. Коль случалось Наташе пройти по деревне, те кто, видел ее улыбочивые серые глаза, и зрелую статью, шеи сворачивали – не полуденный ли то мираж, и сейчас его развеет ветер: такая краля в их дыре редкость. Болтали, а куда ей с ребенком и без жилья? Инвалиду меж собой пеняли: «Такой бриллиант в навоз бросил!» Не одобряли, что Наталья курит папиросы.

Когда узнали, что – училка, удивились.

Первого сентября одноклассники решили проверить Дениса на крепость? Потом пошли смывать кровавые сопли, а в коридоре директор. Для новенького – оратор со школьной линейки. Галстук лежал гнутой лопатой на его животе.

– Я, Степанов Андрей Васильевич! – сказал тот певучим басом. – Ты из шестого «А»?

– А что, еще есть? – хлопнул новый юшкой.

Директор накатыл красным в дневнике Кузнецова приглашение родителям к знакомству. У остальных расписался в воспитательных целях.

На уроке химии – его вел директор – Денис смесью из реактивов вывел запись. Да так ловко, что заводская краска документа, не пострадала. Затея понравилась пацанам: Денис уничтожил криминальные отметины и в их дневниках. На беду, Паша Комаров, щуплый и трусоватый – его терпели за услужливость – заработал у Степанова бал.

– Где роспись? – спросил директор. Паша ссутулился и молчал с плаксивой миной на малокровном лице: в школе знали, Степанов не любил ябед. Директор проверил дневники штрафников. Класс замер. Казалось, мгновение, и малый сболтнет. Директор спас положение любимой шуткой. Он приложил ухо к голове Комарова, и «послушал мысли».

Дети засмеялись.

– Кузнецов, после урока ко мне в кабинет!

Там в приватной беседе Степанов узнал, что навыки прикладной химии у мальчика от матери, дипломированного педагога: из озорства они с сыном часто материализовали биохимические формулы.

– Молотков вам кто? – поинтересовался директор. Денис пожал плечами.

– Сосед!

– Передай родителям, я сам заеду!

– А как он узнал? – спросил во дворе Комаров.

Денис приложил ухо к его голове. Ожидавшие их пацаны, загоготали.

И в субботу директор завернул на хутор. В клетчатой рубашке и в кепке «на темя» – передовик с агитки былых времен. Филя заворчал, но не поднялся с душистых стружек в углу сарая.

Степанов разглядывал Кузнецова: движения не суетливые и точные. Речь с юморной. Но скоро неловкость перед инвалидом сменило беспокойство: гость чувствовал себя голым в аквариуме натуралиста. Взгляд этот был отовсюду. Разум бунтовал: слепой, а видит!

– Как это у вас, получается? – спросил Степанов. Пилот понял.

– Ну, например, костер зимой. Как не повернись, а тепло чувствуешь. Вот вы для меня по цвету и качеству примерно, как огонь...

– Предположим. А вообще... – Степанов сделал круговое движение руками.

– А вообще? – пилот мизинцем поскреб подбородок. – Не знаю. Я только то, что было, но забыто, пока... пока все хорошо. Все это, – отвертка в его руке быстро описала дугу и наугад остановилась в направлении леса, синевшего в проеме сарая, – имеет смысл лишь с нами. Природа, или еще что. Вот у нас с этим взаимоотдача. Пока, правда, отдавать у меня хуже выходит...

Андрей Васильевич осмотрелся. Инструменты аккуратно расставлены и развешены вдоль стен сарая. Центром этого простого и понятного мира был коренастый человек в комбинезоне, впускавший чужого в запасник сердца...

Тут пес вскочил, – древесный мусор навис на лохматом брюхе и задних лапах – завилял хвостом и, срываясь на фальцет, радостно затыкал во дворе.

– Все новые горизонты в человеке открываете? – Леня Молотков с березовым веничком подмышкой входил в мастерскую. Застежки дзинькали на его сандалиях. Сосед потрепал по загривку Филю, норовившего прыгнуть на грудь. Пилот услышал приятеля еще от калитки и отер руки. Он криво ухмылялся: любой серьезный разговор Леня сводил к шутке.

– Привет, как бы чего не вышло! – поздоровался с директором Леня.

– Здоров, горьковский топ!

– А вот вам, мужики, такой анекдот! – Леня присел на перевернутое ведро. – Давеча подъезжает к моему особняку дядя на черном джипе и в клифте до земли. В руке кожаная папочка. На носике очки понтовитые в тонкой золоченой оправе. С дядей мордастый шкаф на полголовы выше нашего Василича. Заходят. Здравуются. Тот, что в очках, вещает. Вот мы привезли денежки за вашу холобуду. Купите две, такие как у вас. Но в другом месте. Либо однокомнатную нору в городском небоскребе. Ваша бывшая жена претензий на участок не имеет. И еще что-то грамотное объяснил про то, как ловко они устроят мою судьбу. Тебя, Коля, в пример ставил. Мол, ты согласие на переезд дал. – Молотков взглянул на пилота. – Я так и понял, что врет адвокатишка. Отвечаю, мне, мол, и тут не плохо. А про себя, Коля, дивлюсь, как хорошо дядя все про всех знает. Завязалась меж нами словесная возня. Тут шкаф рычит. Тебе, козел, капусту предлагают, а ты бодаешься. Гляди, как бы без рогов не остался. Я ему, мол, если нас на необитаемый остров переселить, ты на бутербродах из этой капусты через неделю загнешься. А я со своей картошечкой, да кроликами перекантуюсь. Спрашиваю, сколько отступного положите за березовый запах, против банановых рощ. Адвокат предложил подумать, оставил адресок с телефончиком, и раскланялся.

Молотков извлек из кармана выцветшей ковбойки визитную карточку. Степанов прочитал вслух тесненную золотом надпись с вензелем:

– Кондратьев Олег Олегович, адвокат, – и пояснил Кузнецову. – Доверенный человек Костикова, нашего городничего.

Мужчины помолчали. Было ясно – большое начальство что-то задумало на счет жителей хуторов. И хорошего ждать от таких фантазий нечего.

– А когда они садились в машину, – продолжил Молотков с иронией, – померещилась мне на заднем сидении морда егеря Сереги. Дорогу показал, а выползти постеснялся, гаденыш. Самогончики то попил со мной, совестно.

– Ну-у, – басовито протянул Степанов, – этот продаст, не поморщится! Через него они и знают про вас. – И задумчиво добавил. – Миронов не зря возле начальства трется. Посулили ему чего-то.

– Тебе заметней с твоих паркетных высот, – сказал Молотков.

Выяснили, Степанов ехал мыться: в машине белье. Хозяин предложил остаться. Леня добавил: «Баня нагрелась! – Пошутил – И интеллигенты тут!» Степанов хмыкнул и согласился. Компания ему нравилась.

Под первый заход в парилке – Степанов и Кузнецов под потолком в панамах, Молотков ступенькой ниже – Леня начал одну из своих баек.

– Ты, Коля, человек здесь новый, а потому не знаешь, как все начиналось.

– Что начиналось? – рассеянно спросил пилот.

– Отсюда все в мире через зад пошло!

Слушатели хмыкнули. Леня отер усы. Его острые хребет и лопатки выступали под кожей. Тело покраснело, словно мясо просвечивалось.

– Как-то устроился на таможне, – Молотков неопределенно кивнул, – служивый Мзда. Приглашали его в ГАИ. Там мордастые нарасхват. Но Мзда решил, чем у обочины, так лучше на границе миров в тепле культурку стеречь.

Трудится таможенник. В доме у него полная чаша. Ряху наел – простому смертному не обойти. А непростой с ним договориться: на каждую вещь у Мзды прейскурант, какой Мзде процент полагается.

Как-то случилась жуткая непогода. Таможенник готов хоть с птицы перо за пролет взять, с мыши писк. Да попрятались все твари. Переживают ненастье. Соратники Мзды спать улеглись. А он не дремлет: выгоду свою сторожит. И, удача! – видит: реку нелегально переходит путник. «Ты куда это собрался?» – кричит с берега Мзда. И трясется от радости, что не проворонил выгоду. «Туда!» – кивнул незнакомец на другой берег. «Да как же ты пойдешь туда? А документ предъявить? А багаж показать?» «Так и пойду! – отвечает незнакомец. – Чем этот берег отличается от того? А эти люди от тех?» Мзда чуть дара речи не лишился. «Да ты что! – восклицает. – Там те люди, а здесь эти! Усекаешь разницу?» Потоптался незнакомец, да так и не понял. «Ладно, – говорит, – некогда мне! Узнал меня? Зачем мне паспорт? Решил я поглядеть, как вы меня читаете!» Тут смекнул Мзда, чему его бабка в детстве учила, да слушал он плохо: стоит незнакомец посреди стремнины и течение его не уносит. С длинных одежд, волос и бородищи путника струится вода. А он сухой. На радостях Мзда едва рассудка не лишился. Брякнулся на колени. «Да как же не узнать! – кричит. – Узнал! За тебя еще две тысячи лет серебром давали! А теперь ты, антикварная ценность!» Поморщился незнакомец. «Многих дураков я видел, – говорит, – но ты среди них первый!» И повернулся идти. «Стой! – кричит Мзда, и ласково добавляет. – А то стрелять буду!» Путник стал. Интересно ему, чем дело кончится. «Сам посуди, – объясняет Мзда, – одна древняя деревяшка с твоим портретом этих деньжищ стоит. А ты, ходячий брэнд, просто так через границу! Меня же расстреляют за разбазаривание государственной собственности в особо крупных размерах!» «И, что делать?» – растерялся путник. Мзда потупил глазки. «Договоримся! Думай!» Путник оторопел. «Сколько?» «По-божески!» Вдохнул путник, отсчитал тридцатку серебром и перешел на другой берег.

– Все? – спросил Степанов, смахнул с подбородка пот, и рассыпал из горсти.

– На той стороне путника упрятали в тюрьму за контрабанду самого себя. Готовят документы на депортацию русского оккупанта! А когда правительства хватились, урегулировали межгосударственные соглашения о совместном использовании ходячего брэнда, путник вознесся. Хотели уволить Мзду за ротозейство. Да нельзя без Мзды.

Слушатели хмыкнули.

– Теперь мораль! – сказал Молотков.

– Как у Федор Михалыча? – спросил пилот.

– Нет, Коля, в его притчах назидание. А мораль в том, что мы с тобой по четвертому десятку живем. Сколько на нашем веку законы менялись? А человек все тот же! Выполняй, что дурак придумал! За что раньше сажали, за то завтра орден дадут! Или наоборот: оставят нам лишь братство земное! И возлюбить я должен мурло, которое меня из моего дома прет. Так что, Коля, в давешней нашей беседе, ты правее – по роже то оно доходчивее будет!

– О чем он, Николай Иванович? – спросил Степанов. Пилот вяло махнул.

– Зря отмахиваешься, Коля! Почему он у них теперь на подобии Санты Клауса, не скажу! Спиноз не читал! Но и там согласились, за ноуменами и феноменами начинается не их мозгов дело! А у нас тыщу лет Россию спасали, да просмотрели ветхозаветного деда Мошу за иконкой! Наши мартышки бueвы решили жить по писанию! Да беда! Ветхий и Новый завет плохо стыкуется. В «Слове о законе и благодати» Иллариона на это общий взгляд уже имеется. А я так думаю, что в Нагорной проповеди он для нищих духом все разжевал. Но не возьмет в толк стадо, что это за Бог такой без обрядов и правил? Тогда в мудрый ярославский закон махнули запрещающие и разрешающие обычаи Чисел! Внукам завещали княжеские жития! Бороды отпустили, гривы, как пейсы. Христиане, а календарь семь тысяч лет от сотворения мира вели, и новый год с сентября! Петр, вот, поправил! Баб на женские половины, за Царские врата, книгу в ковчег. И даже плач над покойниками не просто плач, а политика, как у древних записано. Но для тех человек прах, раб и говно! У них Иегова страшилка. А наш – пожалел человека. За него умер! Они не поймут, если человек говно, зачем за него на крест? И наши тужатся, рожают откровения! А все шиш получается! Как ни гнал он две тысячи лет назад, в церквях лавки Богом торгуют, жрецы в роскоши или о роскоши пекутся. Намекни им об этом, как Леву, от церкви отлучат. Кормушка! Ну, да в делах своих попы сами разберутся. Если ходят к ним, значит людям надо! Однако, хоть третий Рим, хоть почва, хоть социализм, а все выходит, именем Христовым жгли, воевали, а простые, перекрестясь, ближнего топором по башке. Вот общее федоровское дело никак не всходит. И ни Горбатый, ни Боря, ни Вова ничего не исправят! Никакую государственную идеологию не изобретут. Ибо дедушка Моша все из-за иконки подмигивает. За тысячи лет они ни на шаг от своего не отступили, и посмеиваются над нами, такими же упертыми, но не обрезанными. Мол, ваш Бог добрее вас. Всех простил. А вы за предначертанную ошибку две тысячи лет простить ни нас, никого не можете! Не гордыня ли то, смертный грех? Потому и не ладится житуха никак!

– Нельзя же только хаять! – сказал Степанов. – Если все так плохо, откуда взялись Пушкин и Толстой, Сикорский и Королев?

– Интеллигентские штучки: устами великих гумус в жопу целовать! Запомни, крепко ругает только тот, кто любит!

Директор наклонился и «послушал мысли» Молоткова.

– Ты чего? – уклонился тот. – Прибереги штучки для своих спиногрызов.

– От многого знания, много скорби! – певуче пробасил Степанов. – Что было то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем!

– Ну, да! – сердито сказал Молотков. – Давай все в Алеши Горшки запишемся! Стоило русской мысли над человеком стонать от шинели до братьев, и от Дона до пирамиды, чтобы возбуждаться голубым салом и жизнью насекомых! Если бы я умел мысли записывать, я бы такую статью накатал: «Алеша Горшок, Матренин двор и кое-что о русском бунте!» И объяснил бы, почему «Капитанская дочка» самая правильная, а Александр Сергеевич самый народный. Мы терпим, но нас не зли. Коль, а ты, наверное, в женской бане мог бы работать! – вдруг загоготал Молотков. Пилот добродушно улыбнулся. Шрамы на его лице побагровели от зноя.

– А ты, что предлагаешь для обустройства Земного шара? – пошутил он.

– Я? – Молотков подумал. – Походить бы по земле, посмотреть, как люди живут. На одном месте человек мохом обрастает. Мысли у него ядовитые появляются. Живем, будто вечные. Гадим друг другу...

– Запел! – пробасил Степанов. – Пойдем, остудимся.

А через неделю директор приехал по делу. Повесил на крюк шляпу. Поправил галстук-лопату. Согрелся чаем у печки – осенние дни холодные. И все молчком. Лишь похвалил за прилежание Дениса. Про себя отметил, как в косом луче солнца, перемахнувшем штормку, юлила редкая пылинки; отметил библиотеку, на полках до потолка с порошками резным орнаментом. «Сам что ли резал?» И тут же забыл вопрос. Книжки об авиации, по военной истории и философии. Полистал с разрешения хозяев.

– Иногда мне перечитывают... – пояснил пилот. Он чистил карабин и сейчас отложил затвор на тряпку.

– Оружие не забываешь, Николай Иванович! – Степанов втиснул книжку на место. – Так то, не глядя, и автомат соберешь?

– Пожалуй...

– Смотрю, пробирки у вас, Наталья Александровна?

– С чего вы взяли, что у меня? – Наташа улыбнулась. Степанов понял, что проговорился. Тогда без обиняков он предложил офицеру вести военное дело. Его жене – химию и биологию. Разъяснил: «Деньги не великие, но живые!» Рассказал о кадровых трудностях сельской школы. И получалось, будто советовался. Денис отложил уроки и прислушался.

– Хорошо б то было! – Наташа приложила ладони к теплой «Яне», и посмотрела на мужа. Тот упер подбородок в переплетенные пальцы и отшутился:

– Дают, бери? – и добавил. – То-то загадочно молчишь! Какой из меня педагог!

– И я рискую! Но ощущение у меня имеется, что получится у вас!

На том и решили.

Случается, живет человек: ни прибыли от него, ни убытка, ни зарубки в памяти людей. А после смерти останутся о нем на надгробье лишь две скупые даты. Другой, где бы не появился, везде – свой. Для местных, учительство наполнило смыслом пребывание Кузнецовых в деревне

Дома Наташа наизусть бормотала материал. Надела голубой костюм: в нем два раза ходила в ресторан. И в школе ее прозвали Невеста. Старшеклассников называла на «вы». В учительской Степанов подобрал измятый в ладони после урока платок «химички», влажный от волнения. Молотков дразнил ее Наташа Менделеевна, и подбивал «сварганить змеевик».

Пилот удивлял школьников сборкой-разборкой «калаша», «сказками о битвах». Злопыхатели наушничали, холостяк Степанов через «Кутузова» к химичке подбирается; у военного в строю «с голым болтом» стоять можно, а по классу во время занятий бумажные голуби порхают. Другие утверждали, «он глисту в ж...е услышит», у него не забалуешь. Но к слепому учителю с псом на поводке привыкли все. В классе Филя дремал у батареи, и шумно вздыхал, если дети ерошили его загрявок.

– Твоих уважают! – сказал Комаров Денису.

Степанов бывал у Кузнецовых, помешивал чай и говорил о школе.

– Дайте почитать ваш роман? – просила Наталья.

– Баловство это! – краснел директор, но рукопись принес.

– Коль, о чем они шепчутся? – ехидничал Молотков. – Дошепчутся!

– По роже получишь! – отвечал пилот. – У человека должна быть тайна.

– Как у тебя! Молчун – не молчун. Слушаешь, а о мыслях молчишь!

– А что болтать? Прошлого не поможет. А нового не сделал.

На озере у берега пацаны «открыли» остров. Точнее – на обмелевшем заливе, где гнездились птицы. На остров вел брод, и там гнила сосна, поваленная бурей. Ее корни выщербили высокий берег. Яму сверху укрыл толстенный ствол. Со временем края пещеры поросли густой травой, заводь перед входом – тростником. Дети разровняли в пещере стены, утоптали песок и единогласно решили, в Ужином углу – так называли тайник – можно жить. В непогоду

здесь разводили костер. Натаскали припасы и замуровали от зверя. К находке привели воеводу. И постановили никому больше не рассказывать о заповедном месте. Выходило что-то вроде военной игры. Но Денис сболтнул Молоткову. Мужик по детски восхитился затее, сволок в тайник «буржуйку», приладил трубу, и получилось настоящее зимовье, с запасом сухарей, перловой крупы, сушеной рыбы и пачкой чая. Тут же хранили чайник, пару алюминиевых кружек и гнутые тарелки. На случай ночной рыбалки.

Как-то пилот, Леня, Денис и Филя проверили Ужинный угол. Передохнули. Погрелись кипятком.

Дотлевала багряно-лимонная осень. Мозглявый ветер случайными порывами сметал с серого леса желто-рдяные пятна отшелушившейся краски. Леня в стеганом ватнике на валуне прихлебывал из кружки и впитывал взглядом горизонт. Бирюзовое с белыми поперечными прожилками небо, скучая, глядело на свое отражение в воде. Денис в бардовом пуховике чесал брыли Филе, млевшему на спине.

– На этом болоте раньше и был рай! – брякнул Молотков. Кузнецов криво хмыкнул. Денис вопросительно посмотрел на взрослых. Пес на всякий случай рывкнул. Молотков невозмутимо продолжал. – Ты, малый, слушай, твой папаня такое в школе не расскажет! После вознесения Спасителя, на Земле остались Его двенадцать учеников. И еще семьдесят учеников тех двенадцати.

– Знаю, мама объясняла!

– А, тогда слышал, что один из семидесяти был русский? Ваня. Из этих мест. Правда, он не знал, что он русский. Тогда даже варягов не было. В библейские времена звали его Иоанн.

Послушал Ваня старших про тело Господне, про полезные для души вещи. Почитал евангелия каноников, и те, которые Тело полагает пустой брехней, и крепко задумался. Если сподвижники Учителя несут отсебятину, то простые смертные закончат разнотолки расчленением Тела. А значит надо прекращать метать бисер. Пора потихоньку мастачить Парадиз. Личным примером приманить людей к светлому настоящему. А лучше нашего отшиба для такого дела места не найти: редкий Савл с легионерами продерется сквозь эти чащобы. Теплолюбивый фарисей загнется от стужи. Идеальная ссылка для экспериментаторов. От преисподней не отличить!

Помолясь, раскорчевал Ваня со сподвижниками гектары под застройку. Через столетие у них Парадиз. Наладили гончарное, литейное и пекарное дельце. Под оранжереями апельсины, мандарины, бананы, киви и виноград. К чуркам ехать не надо. Все есть, кроме денег. Утопия, общественный договор и римское право в одни оглобли. Все тут сплошь писатели, да художники, землю пахут, и на все руки Доки. Споров меж ними нет. Один обмен мнениями. Почитают все жители оазиса заповеди Христовы, и не помирают. Куда из Рая возноситься? Отшумели Вселенские соборы. Тело делили – перedelили. Отбрыцали железом крестовые туристы, отпыхали именем Христовым живые шашлычки с человечинкой, да раскольничьи гриль избы. А за лесами за долами Вечный-Град-на-Дальней-Реке. Слышать о рае Ванином слыхивали, да не видели. Жиреть душами стали жители оазиса.

И наплутал к ним Удвоенный Вова. Прибыл он с бригадой пламенных радетелей за народ. Посмотрел Вова как у Вани все ловко устроено и говорит, что же ты, Ваня, сукин ты сын, мировой антиглобализм устроил в самом, можно сказать, сердце человеческого прогресса? Авангард человеческой мысли бьется над тем, чтобы скорее устроить Рай на земле, а ты тут с хоругвями, да прочими символами веры застыл на вершине человеческой благодати единоличным образом. Так, брат, не пойдет. Рай, так рай для всех! Идти к нему надо вместе, даже если по одиночке! Сворачивай свою бодягу и в путь! В своем ли ты уме, Удвоенный Вова, возмутился Ваня, подумай, куда мне идти, когда я ВэВэПэ, то есть тебя удвоил, пока ты в Кремле за народ радел? Дружески положил Вова руку на плечо Ване и доверительно говорит, одичал ты тут, Ваня, и не понимаешь вселенского момента. Когда люди увидят твои художества – все

закончится. Не будет никакого человечества, ни тебя, ни меня, сплошной хаос и смрад разложения мировой мысли. Рай на земле – это конечная цель всего. Но все конечное – это смерть. А какое же живое жаждет смерти? Значит, говорит Ваня, ты, Вова, ведешь людей в никуда, ради самого похода? Верно, Ваня! Вел, веду и вести буду, спасать от гибели! Через века люди пойдут за мной! Не суть как ты меня назовешь – Великий Инквизитор, Удвоенный Вова или еще как. Главное с вершины увидеть новую вершину! А идущему все простится за подвиг. И муки адовы слаще патоки покажутся, и хруст косточек оступившихся, под ногами миллионов музыкой послышится, если верить, что все это не напрасно! А как не пойду за тобой? – усомнился Ваня. Но и оставаться нельзя, ответил Удвоенный Вова, ибо на зыби стоишь. Глядит Ваня, и точно, на болотах детище его размокает! Новое место для Парадиза искать надо. Вера ослабла. Так и ушел Ваня за Удвоенным Вовой, а места эти цаплям оставил.

– Что тебя на сказ сносит? – спросил пилот. – И всюду ты Христа тащишь!

– Я его мысль освежовы... освежаю! – затрясся от смеха Молотков.

– Смотри, за Удвоенного Вову в Бутырках закиснешь!

– В пятизвездочный теперь смертных не берут! Ты мне мысль сломал! А я тебе еще хотел устав караульной службы прочесть и завернуть, как царь Петр из третьего Рима очко в Европу рубил для русского этатизма!

– Это еще, что за суп?

– Да вычитал тут у одного гоблина.

– Ну и кисель у тебя в башке! Когда ты его разводить успеваешь?

– А что еще делать под вечерний квас? Резиновых баб в продмаг не возят!

Денис покосился на Молоткова и подавил улыбку. Он мял брыли пса. От удовольствия тот жмурился и облизывал кожаный нос.

– Коль, кому я в земляночке мешаю? Зачем меня в счастье тащить, когда вот оно! – Леня обвел руками окрест. – Лупанул химический состав из сахарной свеколки, огурчиком с грядки закусил, и кверху пузом в книжечку уставился. Вот ведь счастье! А не в том, чтоб ближнему в микитки кезать! О чем все мечтают? О шинельке и крыжовнике! И лепись оно все раком!

– Что-то такое, кажется, у Пастернака в докторе было!

– Гляди-ка, блеснул!

– Если до меня, то могущество страны, помимо свеколки и огурчика, определяет умение из своих ископаемых изобретать полезные механизмы. Для этого нужны образование и таланты. Чего у нас с избытком! Это на счет – кверху пузом...

– Вот скоро мои гости и устроят нам свеклу с огурчиками!

– А, ты все о том же!

– О чем же еще?

– Это да, привыкли! Бросать жаль!

Зиму тянули на картошке, дичи, да рыбе, что до ледостава удили на озере. Брали шуку. В плавнях у берега попадались хищницы килограммов на пять и все злые, привыкшие вольно хозяйничать в этих водах. На Ишиме, где много раз отдыхал, Кузнецов научился таскать их наощупь. Водил, пока не выдохнется. Кончиками пальцев чувствовал, как рыба силу теряет. Тогда и брал: жабры у пояса, хвост по земле волочиться. В слепую не везло.

– Не пойду! – обижался на отца Денис. – Ты психуешь. И мешаешь!

Тогда пилот смирился. Помогал советом.

В морозы все кроли передохли. Леня обматерил Кузнецовых. Но пошел с ними ставить силки на русаков. В августе набрали ягод. С заброшенных хуторов красную и черную смородину ведрами несли. Ходили за белым грибом. На маслят, что грудились колониями вдоль тропинок, не глядели: их тут за гриб не считали. Царь-гриб местные называли «белое мясо». Но осенью у закруток постреляли крышки. Наталья плакала. Деревенские посмеивались. «Жопашники! – ругался с ними Молотков. – Они ваших баранов учат!» И сельские про-

никлись: с детьми передавали учителям квашенную капусту, разносолы. «В долг», чтоб не обидеть.

– Совестно братъ, Леня! – говорила Наталья.

– Пусти мужа на паперть в Бобры! – злился Молотков. – Ему подадут!

А в феврале простыл Филя и пилот неделю не выходил. Наталья гладила пса, трогала его сухой нос и вздыхала

Филю, огромный и свирепый на вид, был умный и покладистый. Денис дрессировал собаку по учебнику. Детям нравилось как бесшумно, где, прячась в траве, где ползком, Филя выполнял придуманную ими команду «крадись». Подходил к чужому и ждал, словно взятое наизготовку оружие. Чужой обмирал, и овчарку отзывали.

Пес сообразил, без него хозяин пропадет, и предано служил ему. В лесу Филя ворчанием и горловым собачьим посвистыванием предупреждал пилота о препятствии. Не мешал хозяину слушать шорохи и звуки. Тянуть носом воздух. От хорошего человека отходил. На злого дыбил шерсть, оголял страшные клыки и гортанно рычал. «Собака дерьмо чувствует!» – одобрял Молотков. Мелкую живность презирал. На крупного зверя утробно урчал, готовый к схватке, либо – увести хозяина от беды.

Наталья отпоила Филю молоком, и тот встал.

Весь человек – в поступках. А люди метят натуру. И ярлык этот до гроба. Дачников Кузнецовых, не взирая на промахи, в округе прозвали «бобры». То ли по расположению хутора, то ли подразумевая трудолюбие зверя. «Плачут, а делают!» – не зло посмеивались люди. «Бобра уже от зрячего не отличить!»

– А он как дельфин, ультразвуки пускает! – шутил за приятеля Леня, и добавлял с серьезной миной. – Летчик. Вестибулярный аппарат хороший.

К середине апреля, когда снег остался в низинах, возобновилось строительство дороги. Рев самосвалов сотрясал округу до заката, словно где-то ворочался чудовищных размеров и свирепости хищник. На пути развалили бывший колхозный коровник. За день разровняли место. И по пустырю, через лес к озеру потянулся асфальтовый язык, прямой и узкий, как « жало » змеи. Вековой бор разнесли в щепу. Мачтовые сосны выкорчевывали, будто пололи лебеду в огороде. Жители округи насторожились в ожидании перемен.

И перемены «пожаловали». Горожане купали в деревне заколоченные избы. Но то были мелкие чиновники. Публика сочнее двинулась к берегу, где по слухам мэр строил особняк. Достоверно известно было одно: прошлым летом Костиков приказал замерить для яхты глубину со стороны Бобровой заводи. А роскошную вещь не оставишь в глуши для разового в сезон пользования. К прочему соратники бонзы узнали у местного батюшки, во что обойдется ремонт подотчетного ему и обветшалого памятника архитектуры с колокольней? А народ знает, богоугодные блага – визитная карточка штрафников перед единственным свидетелем их неправедных дел. Затем энергичных людишек видели у председателя сельсовета Слепцова. И поняли по его физиономии, перекошенной сначала от волнения, а затем от пьянства с хорошими людьми: дело сладилось – разрешение на застройку на общественных землях получено.

Кузнецовы и Молотков поначалу бесстрастно внимали известиям со строительства. Дорога вильнула от них в километре. От державного мышления руководства выигрывали все. Энергичные люди установили в деревне «нон стоп» с лицензией на водку и табак. Для дорожных рабочих пустили рейсовый маршрут с остановкой в деревне. Жить стало веселее.

Но вскоре от магистрали нарастили ветвь к Бобровой заводи. Перед съездом с дороги установили шлагбаум. Хутора оказались в полосе отчуждения. Прошелестел слухок, что на поле близ Кузнецовых разобьют вертолетную площадку главы и его соседей соратников. Хутора вклинивались в будущий рай земной, рушили идиллию общежития закадычных друзей. Чиновники возобновили паломничество к хуторянам. Их настырность подтверждала худшие предположения: пока не сживут хозяев, не уgomоняться.

Решить дело миром мешали затяжные русские зимы. Выбрать новое место для дома, отделать жилье под ключ, втолковать людям, во имя чего сниматься с обжитого. Для этого нужно время. Пока с ними обхлопочешься, лету конец. А к зиме серьезное строительство не затевают!

Чиновник в России сродни лакею: угодить хозяину – продвинуться по службе. По мысли чиновников, жилые и хозяйственные постройки крестьян, с учетом амортизации, удаленности и грамотной дребедени, подпиравшей расчеты, едва стоили захудалого домишки в деревне. Приусадебный гектар земли затоптали в бумагах. На что хуторяне вербально предъявили русский кукиш. Тогда крестьянам открыли счет в банке, и предложили самостоятельно искать жилье. Согнутая в локте рука – на словах – была кратким ответом. Время шло. Терпение холуев истаяло.

Молоткову пригрозили красным петухом. Леня церемониться не стал. Расплатился мостки через канаву. И черный внедорожник с переговорщиками, по-хозяйски пропылив по его картофельному полю, с разгона расквасил о бруствер радиатор. Поняли – хозяин не пугливый.

Прощупали Кузнецовых. Охранник, увидев Филю, схватился за пистолет. Но пуля карабина, предупредительно плюхнув воробьем у ног, организовала мысли гостя. Визитеры удалились.

Местный участковый, капитан Селиванов, отказался вразумлять земляков и лег в районную больницу. Наступило короткое затишье. Однако, и сельским, следившим за драматургией действия, и поселковому начальству, и хуторянам было очевидно – административный каток разогнал. И требуется лишь время, чтобы укатать строптивцев. Молотков назвал это: «Любить по-русски четыре». А себя и соседей «леоновскими барсуками».

В один из выходных мысли у Кузнецовых: Молотков, Степанов и хозяин с сыном.

– На деревне людишки ропщут, что из-за нас с тобой, Коля, упрямых городских ослов, Костиков отсюда съедет, и дорогу отменят! – со злой иронией заговорил Молотков. – А с дорогой отменят цивилизацию, пивной ларек и рейсовый автобус. Как тебе община с ее сермяжной правдой?

– А что б не пострадать за народ, и не убраться отсюда! – в тон ответил пилот.

– Ты, Коля, пока не нажил. А мне нажитого жаль!

– Потому и им зад подставлять не охота.

– Это верно, Коля – каждый о своей рубашке печется! Да только я вместо себя делать не прошу! У народишки рубашка на теле останется. Разве пуговиц перламутровых на нее не выдадут.

– За вилы, что ли браться?

– Да уж не щеку подставлять! – Леня погладил Дениса по русой макушке. – Что скажешь, шляпа? – неожиданно обратился Молотков к Степанову. Тот стряхнул с подбородка пот. Жирок на его боках заколыхался от движения.

– Если вашу белиберду отшелушить, то хорошего ждать нечего. Для местных вы пришлые. Сегодня сметут, как крошки со стола, завтра никто не вспомнит. Самое лучшее, чтобы про вас забыли. Да теперь не забудут!

– Ты про мои мостки, да Колину пулю?

Степанов снова энергично смахнул пот.

– Ну, а чего мы не знаем? – спросил Кузнецов. Директор сердито взглянул на него и направился в предбанник. Но наткнулся на взгляд Дениса, напряженный, словно Кузнецов глазами сына буравил его душу. Молотков изучал рыжие волосы на груди.

Директор сел рядом и уперся локтями о ступеньку.

– Говори, если остался! – понукнул Молотков.

– В РОНО, Коля, приказали, тебя, как без пед образования, уволить. Наташу... В общем, по статье. Если нет, мне другое место искать. А ближайшая школа...

– Не ной! – перебил Молотков. – Плотно взялись за нас, сволочи!

– Я тебе так скажу, Коля! Пока я директор, вы будете работать! – Степанов постарался говорить решительно.

– Не долго вам осталось! Эх, ты, кабы чего не вышло! – вздохнул Молотков.

– Мечтатель! – обиделся Степанов. – С государством в мечталки играешь?

– Кто государство? Эти? Что они для меня сделали, чтоб я их государством считал? Анекдот знаешь в чем? Напиши про нас фельетон – похерят! Не интересно! Везде так! Ну, а ты им служи! Может и выслужишь!

– Я ему, – махнул Степанов на Дениса, – его родителям служу! Мой дед учитель! Отец... Настоящий интеллигент служит не системе, а людям! А ты жужжишь, как трутень, и живешь, как...

– Ну! Договаривай! О шкуре своей пекусь? А ты меня к этому государству не примазывай! Стая и отдельный человек враги навсегда! Этим народом всегда палачи и ворье командовали. Значит и народ твой – говно.

– И они говно? – директор кивнул на пилота. Его ноздри обижено вздулись.

– Ты третьим сыном в семье был? Коля, Наташа, пацан – для меня родня! Дочь и бывшая жена – родня. Ты, голубой мундир, не равняй их...

– Хватит ругаться! Что-то надо делать! – урезонил Кузнецов.

– Убери «то надо» и получишь вечное! – пробурчал Молотков.

– В суд подавайте. Пока то, да се, может, что переменится. Не снесут же вас! – сказал Степанов. – Права не имеют.

– Да, тут уж в Ивана Радугу не сыграешь! Обломают! – Молотков вздохнул.

Домывались без настроения. На улице пилот сказал:

– Подожди, Василич! Сейчас заявления вынесу. Тебе из-за нас незачем гореть!

Но директор дожидаться не стал. Уехал, не прощаясь.

Молотков присел у порога и закурил. Край солнца через зубцы дальнего леса гвоздил лучами облако, и от облака по полю, будто растекся малиновый туман. В голубых глазах Лени застыла печаль. Кузнецов опустился рядом.

– Помнишь у Тарковского, в лесу княжки слуги зодчих слепили, и те плутали, плутали! – вспомнил Молотков. Он глубоко затянулся. – Иногда мне кажется, Коля, что вот он свет мелькнул! Ан, нет! Ходим по кругу в трех соснах! И выхода нет! А он тут, свет, – ткнул пальцем в грудь Лены, – у каждого за семью печатями. За этим светом только и осталось идти! Все глубже и глубже, каждый в себя! – Он поискал глазами Дениса, но мать позвала мальчика в дом от вечерней прохлады. Тогда Лена взъерошил загривок Фили. Пес лохматым хвостом разметал пыль.

– Ты что как с цепи сегодня? – спросил пилот. – Василича обидел!

Молотков вздохнул.

– Ладно, Коль, бывай! – Сосед решительно поднялся. Он мгновение постоял у калитки, и задзинькал – Кузнецов слышал – по проселку застужками сандалий.

К вечеру следующего дня Фили осатанел: заунывно выл, норовил перемахнуть забор. Со стороны хутора Молоткова потянуло дымком: Наталья и Денис разглядели над лесом зарницу костра.

Отправились к Лене. Фили забегал вперед, и торопил лаем. Тут, слепя фарами, грунтовку на изгибе преградил «козел». Пес бешено кидался передними лапами на дверь водителя. Пилот за ошейник оттащил собаку.

– Ты чего здесь, Миронов?

Из мрака раздался надтреснутый голос егеря:

– Молоток сгорел! самого нет. Думал у вас. – Он развернул «Уаз» и дорогой рассказал, как уговаривался с Леной рыbachить. – Хотел уточнить день. А тут!

– А че ночью-то? – неприязненно спросил Кузнецов. Миронов молчал.

Филя серым пятном метнулся из-за машины в черную бездну поля к багровым, словно налитым кровью головешкам. Наталья и Денис сделали к пожару шаг, другой, и стали. Идти было некуда. Дом, сарай, постройки дотлевали в жарких всполохах. Белели куры, как бумага, разметанная ветром. Пилот кликнул Филю. Пес отозвался от опушки лаем, а через миг был рядом. В рубиновых глазах Фили устало плясал огонь, шерсть мерцала траурными переливами. Зверь напоминал демона преисподней. Егеря изумила легкость, с какой пилот ориентировался в темноте. Сообразил: «Ему свет не нужен!»

Взяв овчарку за ошейник, Кузнецов исчез в ночи. Предчувствие беды обостряло ощущения.

От заимки залихватски свистнули и «Уаз» поскакал по ухабам.

В лучах фар сгорбилась фигура пилота, словно лесина легла на плечи. Он угрюмо курил. В его длинной тени ничком лежал человек, с головой укрытый брезентовой курткой. Филя жалобно повизгивал, и обнюхивал тело.

– Наташ, стойте у машины. Следы! – крикнул пилот, и позвал. – Миронов! – Пес ошестился, но Кузнецов унял собаку. Он нащупал и сдернул куртку. Егерь задохнулся: Леня, словно с разбегу наткнулся на литовку – полотно через живот вышло у позвоночника. Несчастный умер не сразу: рука вцепилась в древко, будто Леня в агонии выдергивал смертельную занозу.

– Кто они? – спросил Кузнецов.

– Не знаю, – пробормотал Миронов. Фуражка сползла ему на затылок. Лицо взмокло от страха. Узкие плечи и голова мелко тряслись. Он попятился от рук Кузнецова, испачканных кровью и землей.

– Видишь, – сказал тот, – полотно в земле. Значит, Леня лежал на спине, когда его ударили. Либо упал на спину уже с косой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.